ПЕРЕДРЕЕВ – ПЕВЕЦ ОКРАИН

АЛЕКСАНДРА БАЖЕНОВА

«…Вечности медленный ветер моё овевает лицо»

(Жизнь и творчество Анатолия Передреева)

ГОДОВЫЕ КОЛЬЦА

В последние годы жизни Анатолия Передреева (1980-е) я училась в Литинституте, часто хаживала в Центральный дом литератора. В те времена в «предбаннике» ресторана ЦДЛ – небольшом буфетном зальчике – вечерами часто видела столик, за которым сидела выпивающая братия с малоразговорчивым Анатолием Передреевым в центре, но никогда не подходила к хмельной компании, пила кофе за соседним столиком. Как говорится, «ноль внимания, фунт презрения»: что подумают о молодой женщине мужики, если подсаживаться к ним?! Да и неинтересна мне была пьянка. В моих суровых исканиях ей не было места. Если бы я знала, что Передреев родом из моих краев, - все же решилась бы перекинуться с ним земляческим приветствием. Но Бог не дал мне тогда такого знания и не свел нас. А потом оказалось поздно. Когда я всерьез вчиталась в тонкозвучные стихи земляка и задумалась над внешне переменчивой, но в глубине укорененно-русской жизнью поэта, его уже не было с нами…

Как это ни парадоксально, жизнь и литературная биография одного из замечательных русских поэтов ХХ века – Анатолия Константиновича Передреева – до сих пор неизвестна.

Писали и пишут о нем, хотя немного, но в целом нестандартно, интересно В.Белов, С.Куняев, В.Кожинов, А.Шавкута, А.Михайлов, О.Михайлов, С.Агальцов, М.Шаповалов. Есть и злые выпады «заклятых друзей» наподобие евтушенковских или Л.Котюкова в изданной за свой счет книжице «Демоны и бесы Николая Рубцова». …Однако копнешься поглубже - никто толком не знает, где поэт жил и работал (кроме Грозного, Братска, Москвы). Мало кто вспомнит больше двух-трех дат его жизни. Никто не назовет конкретно мест его работы и должностей. Даже временные рамки его земной судьбы не обозначены четко. Сколько же он прожил на нашей грешной земле?..

В начале 1990-х годов мы с единомышленниками решили создать энциклопедию Саратова. Нужна была статья о Передрееве. Хотелось узнать, в какие годы он жил в Саратове? Где работал? Когда переехал в Грозный? Был ли крещен? И т.д.

Однако в первое время на мои вопросы посыпалось еще больше вопросов. Например, в «деле» Передреева в Союзе писателей есть две автобиографии - «собственноручные» - и «карточка писателя», на обороте которой перечислены годы и места работы – учебы – службы. Так вот, во всех трех источниках самим поэтом годы названы разные (не случайно, видимо, Передрееву нравились строчки Рубцова, которые он цитировал: «…Душа свои не знает годы, так по-младенчески чиста, как говорящие уста нас окружающей природы…»). В одной биографии он писал, что был призван в армию в 1955-м, работал в Саратове в 1957-м. В другой, - что в 1954-м был призван в армию, а в 1957 году приехал в Саратов, где с 1958 по 1959 год работал на Заводе им. В.И.Ленина. На обороте «карточки» Передреев указывал, что в 1952-1953-м он – студент заочного отделения филфака Саратовского университета, в 1955-1957-м - в армии, а с 1957-го – на заводе и одновременно продолжает учиться на филфаке СГУ. Четвертый вариант по памяти называет единственный **оставшийся брат его Борис Константинович Передреев, который говорит, что они с Анатолием жили в Саратове в 1954-1955 годах, Анатолий учился в университете.**

**Чему верить?**

**Место р о ж д е н и я Анатолия Передреева - Н о в ы й С о к у р\* в Татищевском районе Саратовской области (Старый Сокур в сборнике «Судьба» и других изданиях назван ошибочно). Деревня Новый Сокур - увы! - в шестидесятые годы оказалась «неперспективной», расформировалась и ныне исчезла с лица земли, как и дом, где родился Передреев, и могилы его пращуров. А село Николаевский Городок, в Н и к о л ь с к о м с о б о р е которого Анатолий был к р е щ е н, называется теперь Октябрьский Городок.**

Оказалось, что даже г о д р о ж д е н и я Передреева в большинстве источников указан неправильно. Например, в «Краткой литературной энциклопедии»; двух автобиографиях, на «карточке писателя», представленных при вступлении в Союз писателей; в некоторых сборниках написано, что он родился в 1934-м. В первой газетной публикации в 1959-м сказано, что ему 23 года. А брат, Борис Константинович (р. 1937), уверил меня, что Анатолий старше его почти

--------

\* «Сокур», «сокорь» - просторечные местные названия дерева«осокорь» (вид тополя). Осокорье - распространенное древесное население Среднего Поволжья.

на пять лет, но, чтобы казаться моложе, - сам «сбавлял» себе два года (разумеется, когда паспорт не требовался).

Пришлось поработать еще и в архиве Литинститута, куда, в отличиеот Союза писателей, сдают заверенную нотариусом (и заполненную с паспорта!) копию трудовой книжки. Там на первой странице четко написан год рождения - 1932, а день так и остался 18 декабря. Наконец, после архивных поисков, бесед с близкими, прочтения написанного Передреевым (ведь стихи – его биография), я попыталась выстроить канву жизни, начиная с генеалогической предыстории.

РУССКИЕ КОРНИ

Фамилия Передреев «говорящая». И немало. Происходит от существовавшего в ХVI веке на Русислова «передорщик», обозначавшего редкую профессию переписчика, а также печатника книг. Это значит, что предки Передреева из века в век, из поколения в поколение были грамотными людьми. Можно предположить, что как многие честно служившие России, они вошли во дворянство. В какое-то неблагоприятное время старшие в роде погибли, малолетние дети были отданы в один из приютов, организованных: еще императрицей, супругой Павла I, в святом миропомазании Марией Федоровной (1759-1828). Она создала вРоссии ряд благотворительных и воспитательных (главным образом дворянских) заведений («Мариинское ведомство»), среди них - мариинские женские гимназии, больницы, приюты. Дворянских детей-сирот, чьи родители рано умерли, погибли в сражениях, стали жертвами эпидемий и проч., воспитывали, обучали в мариинских приютах, после совершеннолетия заботились об их судьбе. Государство безвозмездно выделяло им земли для доброго хозяйствования и кормления. Мария Федоровна, среди прочих, добилась для приютских выпускников земель Мариинской волости Саратовской губернии. Здесь она учредила села по православным именам своих десятерых детей: Константиновка, Михайловка, Марьевка... Центр Мариинской волости - Николаевский Городок основан в 1829 году по распоряжению Николая I. Села быстро обрастали деревнями, такими как Новый Сокур.

Юноши и девушки, переселившись сюда вольными фермерами (как потомки дворянских родов никогда не были крепостными), переженились по взаимной склонности и жили дружно. Они уже не были одиноки и обездолены. Прекрасная земля, окормленная своими новыми поселенцами и любимая ими, воздавала сторицей.

Таким же путем сюда, вероятно, попали в ХIХ веке и Передреевы. Здесь, на благодатной почве они прижились; семьи, имевшие до 10 детей, разрослись так, что в бывшем Николаевском городке и в окрестных деревнях их нынче сотни, иные разъехались по области, по России, в Саратове живет немало Передреевых, которые меж собой в родстве. Разумеется, после нескольких поколений, трудившихся на земле, они ощущали себя коренными крестьянами.

Передреевы и в ХХ веке, случалось, переженивались меж собой. Так отец поэта Константин Васильевич (1892-1976), женился на Дарье Федоровне (I898-I979), урожденной Передреевой же. Родство супругов было невосстановимо дальнее, однако, души оказались родными.

Дом деда (по отцу) Василия, где родился поэт, был небольшой, на три окна, печка, сени - как у всех в округе. Накануне вынужденного исхода из родного дома семью поэта (шестого ребенка, которому тогда, в 1933-м, было меньше года) посетил комбедовец-пьяница и стал требовать четверть самогона. Константин Васильевич возмутился: «Где **я тебе возьму?!** Я же не гоню самогон!» Комбедовец пригрозил, что вскоре придет с уполномоченным и опишет их хозяйство, то есть попросту объявит кулаками (хотя они были крепкими середняками). Константин Васильевич знал, что это не просто угрозы, собрал пожитки и увел семью от беды. Бежали они ночью по степи на железнодорожную станцию.

Относительно деда Василия, двоюродный брат поэта (по отцу) Иван Петрович Передреев (р. 1928), живущий сейчас в Саратове, рассказал, что последними в Новом Сокуре остались с дедом и бабкой (в том самом доме, где родился поэт) его семья с матерью и детьми - мал мала меньше, так как его отец - Петр Васильевич - к тому времени, скончался. Дед, видя, что дело идет к раскулачиванию и расправе, быстро отделил невестку и малолетних внуков, дав им корову и кое-какую живность. Именно животные, а не деньги считались тогда на селе главным богатством. Комбедовцы - как правило, лентяи и пьяницы - неприминули заявиться к деду Василию. Отделенную вдову с детьми (и коровой!) не тронули, а у деда отняли все.

БЕЖЕНЦЫ В ДОМИК НА ОКРАИНЕ

Семья поэта из семи человек (Анатолий – младший) поехала в русский город Грозный. По дороге к ним подсели «добросердечные» попутчики. Быстро узнали их историю, сочувствовали, жалели, заботливо помогали... А когда доверчивая семья вышла из купе - обещали посторожить вещички и малыша, лежавшего на нижней полке Анатолия. Вернувшись, Передреевы увидели, что ловкие «профессионалы» их обворовали. Маленький Анатолий лежал голый на голой полке, все вещи исчезли. И приехали они в Грозный в чем были. Слово «беженцы» тогда еще не было в моде, как и понятие «статус». Чаще беженцы этот свой «статус» тщательно скрывали.

Мынынче уже привыкли к тому, что беженцы «бегут» из Грозного. Почему же тогда, в 1933-м, семья Передреевых поехала и м е н н о в Г р о з н ы й?

Этот выбор разъяснила Мария Федоровна Алексеева (урожденная Передреева), жившая в Саратове, тетка поэта по матери, проще говоря, родная сестра его мамы - Дарьи Федоровны. Брат отца матери Анатолия был военный, подполковник царской армии, служил на железной дороге в Грозном (тогда военном объекте). В отпуск он постоянно приезжал в Новый Сокур к своим. В итоге женился на подруге Ольги Федоровны Передреевой - старшей сестры матери Анатолия. И увез ее на Кавказ. Подруга скучала на чужбине, писала, приглашала в гости, а когда Ольга Федоровна оказалась в гостях в Грозном, - вышла там замуж за железнодорожника. Все они были русские.

Вот к этой-то сестре мамы и приехали Передреевы в саманный дом на две комнаты на окраине Грозного, заняв всемером одну комнату. Так пережили год, а на второй – всем «колхозом» родни и друзей построили неподалеку новый саманный дом, также на две комнаты на улице Шатоевской, позже - Сталинградской, а потом – Хрусталева 111, где прожили сорок лет (до 1974-го). Там родились еще двое детей - Борис и Валентина. Всего Передреевых было с е м ь б р а т ь е в: Виктор (1920-1941**),** Михаил (1922-1997), Александр (1923-1943**), Илья (1926-1944), Иван (1928-1928), Анатолий (1932-1987), Борис (р.1937), живет в Саратовской области, сестра Валентина (р.1940), живет в Ставрополе.**

Виктор и Михаил были офицерами, окончили Астраханское военное училище. Трое братьев - Виктор (ему посвящено «Воспоминание о старшем брате»), Александр, Илья погибли на войне. Об этом Анатолий Константинович написал одно из первых стихотворений «Три старших брата было у меня...» (1958), и напечатано оно первым:

***Три старших брата было у меня...***

***От них остались только имена.***

*Остались* ***три портрета***

***на стене,***

***убиты братья на большой войне…***

а также стихотворение «Сон матери» («И входят в дом ее живые дети, встают над нею три богатыря»). Надо сказать, что все Передреевы были высокими, статными, голубоглазыми, русоволосыми: настоящими богатырями из сказок Русской Земли.

**Брат Михаил вернулся с войны без ног. О нем – «Баллада о безно**гом сапожнике», опубликованная в «Литературной газете» и сделавшая Передреева известным на всю страну. О брате же можно было написать не только балладу, но драму или трагедию, а роман уж точно.

Уйдя на фронт прямо из военного училища, Михаил Передреев попал в окружение под Киевом. Девятнадцатилетний лейтенант командовал бронепоездом. **Долго сдерживал атаковавшего врага, прикрывая своих отступавших бойцов. Но бронепоезд все же подбили... Выбрался ночью, пришел в ближайшее украинское село, попросился переночевать к одному старику... Наутро, когда Михаил, раздевшись до** пояса, умывался, старик залюбовался на красивого породистого хлопца, пожалел его: «Оставайся у меня, запишу как сына, переждешь войну, а там видно будет...» Но русский офицер не мог отсиживаться дезертиром: «Я не так воспитан, дед!» - ответил он. Пробрался к своим. Вывел из окружения еще 22 бойца. Особисты проверили вышедших и, убедившись, что они не лгут, снова зачислили их в строй.

**Тут же Михаил попал в бой, где был ранен в ноги. Отступавшие под огромным натиском наши войска оставили раненых на снегу на поле боя (уносить их было просто некому). Его подобрали немцы. Вместе с** другими пленными бросили в крестьянский табачный сарай. Благодаря тому, что Михаил упал прямо у дверей, а может, еще и потому, что все Передреевы красивые мужчины, - он выжил. Одна украинка - Мария- носила ему еду. Немцы, видя, что у пленного начинается гангрена, переместили его в госпиталь. Сделали операцию – ампутировали ноги, но гангрена продолжала распространяться... Пилили еще два раза, пока не остановили заражение. Долго лежал в госпитале, где лечили отменно, употребляя все достижения тогдашней европейской медицинской науки. Даже привезли ему из Германии высококачественные протезы, изготовленные индивидуально (он на них потом бежал, а дома - ездил на велосипеде и мотоцикле). Пунктуальные врачи выполнили свой профессиональный долг, а когда пациент выздоровел, вышвырнули его за ворота больницы.

Его взяла к себе Мария. Михаил страдал. Страдал от того, что оказался в плену, в неизвестности, висевшей над ним дамокловым мечом, и от того, что теперь он - калека. Даже если освободится, - как жить?! Как выжить?! И он решил научиться другому ремеслу, где можно действовать только руками. Хотя самозабвенно любил технику, скорости, движение, - начал обучаться сапожному мастерству (и усидчивости!), понимая, что это может его прокормить. Сам без ног, он шил и ремонтировал обувь другим.

Когда немцы отступали, им был дан приказ: ликвидировать военно­пленных. Об этом приказе знали, и Михаил успел убежать за реку, где на кладбище Марией заранее был приготовлен схрон с запасами необхо­димого. Там провел три дня. Пришла передовая часть, офицер-особист проверил его, поблагодарил, дал двуколку и отправил домой. Так он въехал в Грозный на паре вороных.

Потом работал сапожником. Кормил всю семью. Вскоре женился на соседке Евгении Алексеевне Саломатиной, у них родилась дочь Галина. На Украине Мария ждала его, у нее тоже родилась дочь. Михаил порывался съездить туда, но жена не пустила, проявив невиданную твердость: она боялась потерять мужа. Михаил писал стихи «для себя», иногда читал их братьям Анатолию и Борису. Анатолий порой сам перечитывал черновые наброски брата. Может семейные занятия поэзией и подтолкнули его впоследствии к собственному творчеству.

В 1956 году начали возвращаться назад выселенные Сталиным чеченцы. Они вели себя нагло, агрессивно. Многие русские мужчины погибли на войне, в Грозном оставались лишь женщины, калеки и молодежь. Че­ченцы же, наоборот, после войны быстро размножились и буквально по­давляли русское население. В Грозном стало неуютно. Уже в это время многие, *у* кого было куда, уехали. Не сразу, но Михаил тоже переехал к дочери в Ленинград, где дожил свою жизнь.

На первый взгляд, кажется, подробности можно и опустить, но хочется, чтобы читатели прониклись атмосферой времени, атмосферой семьи, в которой формировался поэт. А он ее очень любил. Мало поэтов, как Анатолий Передреев, детально описали семью, дом, родину, - конкретную, а не абстрактную. И сделал он это тепло и пронзительно ощутимо. В.Кожинов назвал выкристаллизовавшийся таким образом стиль «свежестью и… обаянием, которые нельзя воспроизвести вторично».

Однако мы забегаем вперед.

В Грозном семья Передреевых жиланебогато, но дружно. Мама вос­питывала детей (кстати, она была мать-героиня, награждена «Медалью материнства» II степени) и вела хозяйство. Немало хороших строк Анатолий посвятил матери:

*Сквозь все разрухи, голодухи все*

*ее терпенье не имело меры,*

*она хотела, чтобы были все –*

*учителя, врачи и инженеры.*

*Она кружилась посреди забот*

*и из всего переустройства мира*

*освоила один водопровод,*

*«сработанный еще рабами Рима»…*

Завораживало его душу таинство общения матери с Богом:

*Я вижу, как заперла двери,*

*как свет погасила она*

*и шепчет молитву, и верит,*

*что Богу молитва слышна.*

***\* \* \****

*И одиноко и убого*

*лампада робкая горит,*

*и мать с иконным плоским Богом,*

*с безмолвным Богом говорит.*

Может быть, именно благодаря молитвам матери, семья, хоть и не в полном составе, но выжила, и Анатолию Бог даровал удачи. Асколь­ко русских семей в это время сгинуло бесследно!

Кстати, после войны, узнав, что дают пенсию за погибших сыновей, Дарья Федоровна пошла в Собес и «оформила» пенсию, составившую 17 рублей. Так оценило тогда государство трех погибших ее сыновей и одного - инвалида войны.

Отец - Константин Васильевич, который славился благородством и трудолюбием, - работал на железной дороге промывальшиком-пропарщиком цистерн в вагонном депо, а поскольку он грамотный (еще в царс­кой армии былписарем), то вскоре стал мастеромпромывочно-пропарочного цеха. Но и зарплаты мастера на такую семью не хватало. Поэтому в 12 км от Грозного, на станции (потом район Грозного) Примыкание, он с семьей обрабатывал 4 огорода: на одном – кукуруза, на других – картофель, овощи. Все дети работали на этих огородах, понимая, что иначе не выжить.

В Грозном Анатолий по 1946 год учился (всегда хорошо и легко) в неполной средней (семилетней) школе №5. Сестра Валентина вспоминает. После войны она опоздала с оформлением в первый класс на неделю. Все 10 (сколько детей рождалось до войны) первых классов этой школы были переполнены. Валентину отказывались брать. Но одна старая учительница, узнав, что она Передреева и сестра Анатолия, сказала: «Какой умный мальчик Ваш братик!»... Ивзяла Валентину к себе в I класс только за то, что она – сестра Анатолия. В 1950 Передреев окончил 10 классов средней школы рабочей молодежи №6. Одновременно посещал курсы шоферов и крановщиков. В 1951-1952 годах работал на автобазе «Грознефть» крановщиком крана АК-5, шофером.

После школы хотелось продолжить образование, но в Грозном выбор учебных заведений небольшой - Нефтяной и Педагогический институты. Пошел в Нефтяной. В 1952-1953 годах учился там, пока непопал в мотоциклетную аварию. Пролежал несколько месяцев в больнице, и... передумал оставаться в вузе, чуждом его душе. Ему было 20 лет. 0н мечтал о литературе.

**РОДИНА, ИЛИ БЕСКОНЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ**

Передреев, как и многие тогда, был помимо желания выдавлен из деревни, оторван от корней, но - дитя окраин (на окраинах он жил в Грозном, Саратове, Москве) - не стал рафинированным горожанином. Уже позже, учась в Литинституте, в 1964 году он написал стихотво­рение «Окраина». Многие знавшие Передреева литераторы согласны с мысльюВ.Кожинова: Передреев написал п р о г р а м м н ы е стихи, прозвучавшие как манифест поколения, чья молодость пришлась на 50-е - 60-е годы: «И города из нас не получилось, и навсегда утрачено село». Анатолий Передреев жил еще в то время, когда общество было способно оценить стихи, выражавшие сокровенныенастроения большинства людей.

Провиденье часто приходит к настоящему поэту. Николай Рубцов и Анатолий Передреев, жившие в одном времени, увидели и отразили Россию второй половины ХХ века с двух сторон, Рубцов считал: «Мать России целой – деревушка». Именно отсюда черпала людские ресурсы страна, отдавая их для молохов войны, строек коммунизма, освоение целинных земель, для растущих промышленных центров. Рубцов с болью описывал опустевшие русские деревни и села, где оставались одни старики, сторожащие обветшалые дома с пожелтевшими фотографиями некогда обширной родни на стенах; повалившиеся сараюшки; покосившиеся заборы. Села обезлюдели, одичали, аиные - исчезли с лица земли (как Новый Сокур).

Передреев увидел Россию, перетекавшую из сел в города и большие поселки. Разросшиеся окраины городов поглотили теперь кажущиеся мизерными центры. И это новое пространство стало становым хребтом России. В «окраинной» провинции люди еще не научились жить по жест­кому холодному ритму мегаполисов, еще селились большими семьями с отцами-матерями, дедами... Еще несли в душе свежесть, чистоту по­лей, тонкие этические законы предков, создавали свои стиль жизни.

*Взрастив свои акаций и вишни,*

*Ушла в себя и думаешь сама,*

*Зачем ты понастроила жилища,*

*Которые ни избы, ни дома?!*

*Как будто бы под сенью этих вишен,*

*Под каждым этим низким потолком*

*Ты собиралась только выжить, выжить,*

*А жить ты думала, потом…*

Уже после смерти поэта в Сибири и в Саратове (1992-1998) выходили газеты с одинаковым названием «Окраина». Понятие это, по-новому сформулированное Анатолием Передреевым, оказалось актуально и **близко современникам.**

Каждое лето (за исключением военных) Анатолий с матерью приез­жали на родину в Саратов, и каждое лето они шли пешком от станции до деревни Новый Сокур. Там жила их многочисленная родня. И дере­венские петухи запали ему в душу, и пение жаворонка, и туман в логу, и длинная степная дорога, которая помогла постигать пространства равнинной своей родины. Позже, когда Анатолий писал о Рубцове, он со знанием дела отметил; «такое «проездом» не скажешь, надо «идти» пешком». Анатолий при виде родных мест говорил: «Мама, какая у нас земля красивая! Какая красивая деревня!» Одно из лучших стихотво­рений Передреева о своей родине – «Воспоминание о селе»:

*... Там никого,*

*ни деда и ни бабки*

*нет у меня,*

*ни отчего двора...*

*Забыв о том, как сеяли и жали,*

*давным-давно*

*мои отец и мать*

*из деревеньки этой*

*убежали,*

*едва-едва успели убежать.*

*Тогда в деревне*

*начиналась смута,*

*и с правдой перемешивалась ложь,*

*кому-то захотелось слишком круто*

*судьбу крестьян*

перемолоть как рожь....

Именно это стихотворение Передреев закончил выводом-формулой, которая составляла его кредо: «…РУССКОМУ ПОЭТУ НУЖНА ЗЕМЛЯ И РОДИНА НУЖНА». Позже, когда делал переводы из Э.Межелайтиса, он снова мысленно вернулся к своей деревне:

*Вы ошиблись, ошиблись, ошиблись…*

*Не ослепят меня города,*

*мне светлей та изба на отшибе,*

*что в глаза мне вросла навсегда…*

*И деревня, и лес, и опушка...*

*Первый шаг мой по этой земле...*

*Там живет золотая кукушка,*

*много лет куковавшая мне...*

*Над избой, притулившейся с краю,*

*жаворонка высокая**трель,*

*и когда я глаза* закрываю –

*открываю в избу эту дверь.*

Родина – вечный источник вдохновения. Хотя Передреев знал: «Ни­чего не обещано мне, не завещано здесь ничего мне». Об этих краях стихи «Равнина», «Нет, бедность знаю не со слов я...» («За мной идет сквозь мор и глад моя большая родословная, клеймленная огнемзаплат…»). Он опирался на свою родословную интуитивно, подробно и не зная ее. Мысленно Анатолий Передреев вечно шел по родной равнине к деревне, где родился. Путь к родине - тема многих его стихов. В воображении он даже на самолете кружит над своей низенькой избой.

Позже, когда он переводил, - переводы его были хороши, потому что он делал их как свои стихи, и не только в смысле рифмы, но и чаяний. Вот как будто бы он переводит Д.Новруза, но мы чувствуем лишь интонацию Передреева, лишь его переживание:

*Когда я захочу увидеть небеса –*

*видеть небо*

*уже не могу городское...*

*Когда я затоскую*

*об искреннем**чувстве,*

*по словам первородным,*

*как россыпи рос,*

*уезжаю*

*в родное свое захолустье,*

*ухожу в те края,*

*где родился и рос…*

***Но приехав,***

***стою я неловко вначале***

***посредине большого***

***зеленого дня…***

***И окликнуть хочу***

***эти чистые дали.***

***И боюсь,***

***что они не услышат меня...***

В 1954 году младший брат Анатолия Борис окончил школу, и они вместе отправились в Саратов, где были около десятка высших учебных заведений и возможность остановиться у родни. Остановились у дяди Лени - Алексея Васильевича Передреева, - любимого брата отца, жившего за Сенным рынком в Первом Пугачевском поселке, 10-а, в собственном доме. Борис поступил в Автодорожный институт, Анато­лий - в Саратовский университет на филфак (заочное отделение). Как известно, на заочном можно учиться, а жить и работать - где угодно. Борис остался в Саратове, Анатолий завербовался на строительство жилых домов в Москву, в Сталинский район. Работал недолго, так как вскоре был призван в армию. Все события - поступление в университет, стройка в Москве, призыв в армию - произошли в сжатый срок, в сентябре-октябре 1954.

Во время службы в армии (близ Барановичей) состоялось событие, никем из родни и друзей незамеченное, но в корне перевернувшее дальнейшую жизнь Анатолия Передреева: он начал сочинять стихи. Вдали от дома, близких делился мыслями и чувствами с белым листом. Из автобиографии: «Хотя к поэзии меня влекло с ранних лет, стихи я начал писать довольно поздно. Первое стихотворение я написал, когда мне было уже 23 года. И в дальнейшем писал очень мало, и, как видел сам, плохо». Есть предположение, что в стихах себя он пробовал еще раньше. Друг Передреева Р.П.Подунов вспоминает, что уже надень рождения в 1953 году Анатолий подарил ему стихи. Но это, видимо, были слабые «датские»\* вирши, он сам понимал их наивность. Ранние стихи до нас не дошли.

У Анатолия была первая любовь - Дина Арбузова, училась в Астраханском мединституте. Пока он был в армии, Динавышла замуж. Он посвятил ей стихотворение «Голубой велосипед». Позже Дина разошлась со своим мужем, вернулась с ребенком. Они встречались. Анатолий трогательно заботился о дочери Дины. Но уже ничего не «склеилось»…

После демобилизации Анатолий Константинович приехал снова в Са­ратов, где учился его брат Борис, продолжал учебу на заочном филфаку и устроился на работу на метизный\*\* Завод им. В.И.Ленина Сара­товского Совнархоза, который производил металлические изделия, а большей частью - в несметных количествах - колючую проволоку для лагерей и других нужд Совнархоза. Дата приема - 18 сентября 1957, первая должность - ученик подручного в оцинковальном цехе, через два месяца - подручный оцинковальщика... Какая тяжелая работа на вредном производстве!

--------

\* «Датские» вирши – стихи к датам.

\*\* Метизы – советское слово от сокр. «металлические изделия»: стальная проволока, канаты, гвозди, болты, ножи, пилы и т.д.

Какие скучные должности! Но столь унылое однообразие работяжьего

бытия он сумел Божьим даром поэта перелить в одно из самых оптимистических стихов:

*Я жил свободно и открыто.*

*Я делал чистые дела.*

*И производственная крыша*

*Над головой моей*

*плыла.*

*Она была –*

*как купол цирка,*

*но не хватало высоты*

*парам расплавленного цинка,*

*удушью серной кислоты...*

*И к вентиляторному ветру*

*я прислонялся головой...*

*А на стенах –*

*плакаты**века,*

*призывы****,*** *лозунги его…*

Передреев умел тонко написать о будничной работе, точно детализированно, и, в то же время, поэтично. Человек советского времени – он не причастен к его «лозунгам», ни разу не выдал стихов о Ленине, в отличие, например, от А.Прасолова, не говоря уже о евтушенках-вознесенских-рождественских, постоянно облизывавших мертвого вождя «шершавым языком плаката».

Анатолий Константинович внес в поэзию свежую струю: непринужден­ность вдохновенья, размах раскованности, не переходившей, однако, тонкие невидимые пределы этического. Он умел быть усердным тружени­ком, и если не задерживался долго на должностях слесаря, шофера, бетонщика, то только потому, что это не его предназначение. Предназначенные ему Богом труды ждали впереди.

В Саратове он написал несколько стихотворений, удавшихся лучше прежних, с большим напором жизнерадостности. Он отнес подборку в областную газету «Коммунист», где стихи понравились заведовавшему одним из отделов В.Ф.Бойко. На счастье Передреева, это был истинный ценитель поэзии, и 7 июня 1959 года в №132 (1947) вышла первая подборка, называвшая­ся «Доброго пути! Стихи Анатолия Передреева». Там он представлен «токарем инструментального цеха Завода им. В.И.Ленина, 23 лет». Ни то, ни другое не было верно, и вносило путаницу в биографию. Зато стихи «Три старших брата было у меня...», «Щель», «В лесу» - ознаменовали рождение оригинального поэта, появившегося сразу, без «черновиков». Не случайно потом эти стихи входили почти во все сборники Передреева.

17 декабря 1958 года Анатолий Константинович уволился с метизного завода. Привлекала романтика ж заработки строительства Братской ГЭС. В июле 1959 выехал в Сибирь. 7 августа 1959 зачислен бетонщиком на Третий участок Братскгэсстроя. Но не прошло и меся­ца как был переведен (1 сентября) в редакцию газеты «Огни Ангары» на должность литсотрудника, где проработал по 1 февраля 1960.

Позже, 20 июня 1960, в характеристике, предназначенной для поступления в Литинститут, редактор газеты «Огни Ангары» М.Савенко (в советском духе) написал, что Передреев (уволенный в связи с сокращением штата) «добросовестный, исполнительный, дисциплинированный,.. выступил со своими стихами, организовал несколько «Литстраниц», привлек к работе молодых строителей, пробующих себя в поэтичес­ком творчестве, рецензировал их стихи».

Расставшись с «Отняли Ангары», Передреев отправил стихи на конкурс Литинститут. До начала экзаменов устроился ненадолго - с 6 апреля по 15 июня 1960 года - слесарем-монтажником 5 разряда в Братское мон­тажное управление Гидромонтаж Министерства электростанций СССР.

**УЧЕБА**

Наконец - Литинститут! Сдал все экзамены на «хорошо». Попал в семинар А.А.Коваленкова. В автобиографии 25 нюня 1960 года он писал: «…Я мечтал поступить в Литературный институт имени Горького, однако не решался попытаться сделать это, так как не был уверен, что у меня есть основания считать поэзию делом всей своей жизни… Чувствую как мне не хватает культуры - общей, поэтической. Этот недостаток я думаю ликвидировать в Литинституте...»

Учеба в Литинституте - наиболее освещенная сторона жизни поэта. Мне не стоит останавливаться на этом времени. Он жил в общежитии Литинститута, имел много друзей, почитателей (да и собутыльников). Учился хорошо (я просматривала зачетку), но за пропуск занятий несколько раз лишался стипендии, имел выговоры за пьянку в общежитии и за то, что провел туда девушку.

Я сама окончила заочное отделение филфака Саратовского университета (1970-1976) и Литинститут (1980-1986), оба диплома на «отлично». Так что могу сказать с уверенностью: я знаю разницу меж этими учебными заведениями. СГУ можно считать 11, 12, 13… классами (но уже с филологическим уклоном) советской школы. Там - строгий формализм, академичность, много языковых базовых дисциплин, где доминирует зубрежка правил. Кроме иностранного - латынь, старославянский, древнерусский (историческая грамматика русского языка), диалектология, введение в языкознание. История литератур политизирована, немало общественных дисциплин. В итоге (особенно поэту!) учиться скучновато и тяжело. Я, так же, как и Передреев, к концу в университете устала от этого занудства. Просто у меня оказалось больше терпения, а, главное, я, зная о существовании Литинститута, не подозревала, что он доступен и для меня: из далека провинции казалось, что там учатся полубоги, иначе я бы, как и Передреев, устремилась туда раньше. Основная перспектива выпускников университета – учитель в школе (часто районной или сельской). Редко – филологическая наука или журналистика. Все это Передрееву было чуждо не менее, чем баранка авто или работа слесаря-монтажника.

Литинститут расширял кругозор и круг общения, большие возможности открывала в этом плане и Москва. Никакой муштры (хотя дисциплину требовали)! На экзаменах ценилось не заучивание, а понимание и оригинальная оценка произведений классики. История литератур доминировала над языковыми дисциплинами. Лекции иных блестящих преподавателей превращались в театральные выступления с аплодисментами в конце. «Семинары»,.. споры о поэзии, литературе продолжались и в общежитии. Хорошая филологическая подготовка Передреева делала учебу в Литинституте легкой, а творческие дни были вообще праздником души. Хотя и большим переживанием - тоже.

Добрая половина стихов, созданных Передреевым, написана в литинститутские годы (1960-1965). В эти годы были публикации в журналах: «Знамя», «Октябрь», «Новый мир», «Юность», «Молодая гвардия»; вышел первый сборник «Судьба». Анатолий Константинович проходил дипломную практику в журнале «Знамя», где затем был зав.отделом поэзии. Практика шла с 7 февраля по 1 июля 1964, он оставался в этом журнале, по его собственным словам, по февраль 1965. 22 апреля 1965 года он защитил диплом на «отлично».

**«ЧЕЧЕНСКИЙ СЛЕД»**

После Литинститута Анатолий Константинович вернулся в Грозный и начал готовить документы для вступления в Союз писателей. В те вре­мена - процедура долгая (1968-1973) и сложная. Просил квартиру у местной власти. Параллельно - делал перевода, написал для журнала «Октябрь» статью о поэзии «Читая русских поэтов». Вскоре был принят в Союз на местном уровне. Получил четырехкомнатную квартиру **(которую позже, когда уехал из Грозного, передал родителям). С 19б0 года по начало 1970 он постоянно курсировал из Москвы в Грозный и обратно. В одной из таких поездок (в 1963)/ познакомился с чеченкой Шемой («крестовой дикаркой», по его словам). Шема Алиевна Альтимирова (р.1940), дочь офицера, была проводницей, затем официанткой в поезде «Махачкала – Москва». Для Чечено-Ингушетии того времени должность считалась престижной и денежной, на нее устраивались лишь имевшие связи.**

**Анатолий Константинович, видно, не стремился как можно скорее связать себя с Шемой. Он медлил, сомневался... У Шемы, по словам сестры Анатолия Валентины, было трое детей от предыдущих мужчин: мальчик (позже сидел в тюрьме) и две девочки. Но их отцов eй не удалось** удержать. Когда в 1968 родилась дочь Лена, Шема и Анатолий поженились (в1968) в Грозном.

С 3 октября 1968 года Передреев - член редколлегии журнала «Наш современник».

Анатолий Передреев прожил на Кавказе около 30 лет, полюбил его, посвятил ему много стихов, хотя с оговоркой: «По рожденью и по крови я не твой, Кавказ!»... И надо же такому случиться, - в то самое время, когда он окончательно понял: «Я не твой, Кавказ!», и ужедумал: как бы переселиться в Москву, - Чечня вошла в его судьбу с тыла в виде почти «данайской» (что-то вроде «троянского коня») женщины.

Не всем нравилась Шема. Мама была против того, чтобы он женился на чеченке. Может иногда и самому Анатолию в ней не все нравилось, но факт оставался фактом: он женился по любви, приняв самостоятельное решение, он заботился о семье, посвящал Шеме стихи:

*К скале прислонившись отвесной,*

*я видел,*

 *внизу подо мной*

*дышала холодная бездна,*

*ходила волна за волной…*

*Но с детским восторгом во взоре,*

*забыв обо мне и себе,*

***бежала ты к морю,***

***и море***

***бежало навстречу тебе!***

Он предугадал, что эта связь будет «до последних дней». Нигде не сказано, что стихотворение «Среди всех в чем-нибудь виноватых…» посвящено Шеме, но в нем Анатолий Константинович формулирует всю, не сразу видимую ценность любой женщины, обнажает сакральные нити, связывающие его с ней:

***Объяснялся словами со всеми,***

***а молчанием – только с тобой…***

***\* \* \****

***Но когда я тебя обнимаю,***

***как тебя лишь умею обнять,***

***в этой жизни я все понимаю,***

***все, чего невозможно понять!***

Хотя тут же гасит радость счастья какими-то гложущими душу сомнениями: «Зрачки твоих глаз диковатых для меня непонятней чужих…» Иногда он удивляется: «...Боже, что свело на земле этой нас?!» Вот и догадайтесь тут: чего было больше в их связи с Шемой - любви, или «крестовой» - карточной – «данайской» судьбы?!

По словам Валентины Константиновны Передреевой, Шема у нее спрашивала, как приворожить мужчину,приколдовать?.. Хотите верьте, хо­тите - нет, но Валентина Константиновна считает, что связь эта была - злое колдовство, какая-то любовь-болезнь. Анатолий мог поколотить Шему и прогнать, но потом бежать за ней и орать: «Шема, вернись!»

В августе 1971 он еще счастливо жил с семьей в Грозном.

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

В Союз писателей окончательно был принят 4 апреля 1973. Покровители помогли получить квартиру вначале в Москов­ской области - в Электростали (на ул. Победы, 6, корп. 4, кв. 180). Затем в Москве на Волгоградском проспекте (115, корп. 2, кв. 12) и Хорошевском шоссе - последнем пристанище в этой жизни.

Чеченская родня Шемы постоянно хотела (жить) в Москву, но Анатолий жестко отказывал, говоря, что всю чечню здесь не вынесет…

После окончания Литинститута наступила пора чисто творческого труда, которому Передреев отдался самозабвенно. Писал стихи, размышления о поэзии, рецензии, переводил, редактировал. Всего у него вышло при жизни 5 сборников, венчавших 28 лет литературной деятельности: «Судьба» (М., 1964), «Равнина» (М., 1971), «Возвращение» (М., 1972), **«**Дорога в Шемаху» (Баку, 1981), «Стихотворения» (М., 1986) и один «День поэзии», где он был главным редактором (1981). После его смерти вышли «Любовь на окраине» (М., 1988); наиболее полный сборник «Лебедь у дороги» (М., 1990, изданный «Современником», с предисловием В.Белова); «День русской поэзии. **Анатолий Передреев» (М., 1992, издатель В.Байбаков); «Разбуди эту землю, весна» (М., 1996, издатель А.Парпара).**

Те, кто считали: Передреев «одонорствовал» переводимых поэтов, «измучил» себя переводами, сами будут «мучиться» сомнениями в квалификации его поэтодейств после «оглашения» списка переводов, обширности которого даже не подозревали. Именно поэтому, несмотря на неактуальность разговора об отошедших в ближнее зарубежье, и - отторжение слухом труднопроизносимых имен национальных поэтов, - хочу здесь привести внушительный перечень трудовых достижений (я на **этом настаиваю!) русского поэта в области перевода:** Э.Межелайтис «Карусель» (с литов., 1968); М.Мамакаев «И камни говорят» ( с чечен., 1968), «Земля Мартана» (1971), «С человеком по земле» (1976); Ш.Цвижба «Сказочный поезд» (с абхаз., 1969); А.Григулис «Осенний дождь» (с латыш., 1969); Х.Ширипов «Все тот же я» (с узб., 1970), «Привет из Сатвалды» (1977); Д.Новруз «Простые истины» (с азерб., 1972), «Дары судьбы» (1977), «У Земли – планеты» (1982); А.Чиботару «Ступени» (с молд., 1973); А.Коздати «Яблоко нартов» (с осет., 1974); **А**.Мухамад «Голоса жизни» (с узб., 1975); Н.Хазри «Русло времени» (с азерб., 1976), «Признания веку» (1979), «Море со мной»(1983); Н.Нарзуллаев «Добрый свет» (с узб., 1977;кроме того, перевел Д.Яндиева, С.Чахкиева, И.Торшхоева (с ингуш.); Б.Вагабзаде (с азерб.); М.Ласуриа (с абхаз.); Ф.Халваши (с груз.); Х.Дзаболты (с осет.). Итого – 18 поэтов, у иных переведено по две-три книжки. Разве это не колоссальный труд?! И бесполезный ли?! Прошло несколько лет. Названные имена никто не помнит. А Передреева, писавшего вольные стихи на близкие ему темы, не позабыли…

**Его переводы обладают всеми достоинствами авторских текстов еще и потому, что как уверяет брат его Борис, Анатолий Константинович никогда не брался за перевод заведомо слабого поэта(отказывал жестко) и никогда не переводил тех стихов, которые ему были не близки. Давно пора нам изъять из разновременных сборников переводов стихи нашего русского поэта и представить перед нашими русскими читателями.**

Наби Хазри за сборник стихов в переводах Передреева получил Ленинскую премию. Советским руководителям не приходило в голову, что самому русскому поэту Анатолию Передрееву можно дать такую премию за его собственные стихи. Лишь читатели вознаграждали его беззаветной искренней любовью.

Оставим насущную денежную весомость книг переводов, обеспечивавших прожиточный минимум. Возьмем только творческую сторону.

У меня складывалась такая же ситуация, когда я оканчивала Литинститут и горела жаждой совершенствоваться профессионально как литературный критик. В стране был один литературно--критический журнал «Литературное обозрение». Я начала обивать его пороги. Нет нужды подчеркивать, что он был нерусский. Поэтому, когда я выбирала для рецензирования русского автора, - мне отказывали в публикации. В ТАКИЕ МЫ БЫЛИ ТОГДА ПОСТАВЛЕНЫ УСЛОВИЯ. Довольно нескоро **до меня дошло, что надо попытаться «набиться» на заказ в отделе национальной критики. Тут не было недостатка в выборе. О малоинтересных авторах из национальных республик никто не хотел писать. Но жажда профессионального роста заставила меня вникать в суть произведений, я старалась разобраться в образах, ситуациях - и так в это увязка, что... писала все уверенней и интересней; набиралась опыта. Ведь и музыканты, играя скучные гаммы, совершенствуют свое мастерство.**

Так же было и с Передреевым. Он, выступив с прекрасными оригинальными стихами, понимал, что рано или поздно, если будет писать так же, - пойдет по кругу повторений себя же и зайдет в тупик. Нужно наращивать профессиональные мышцы. Судьба так распорядилась, что ему попались в виде подсобных (и в плане творческом и в плане денежном) материалов переводы (иным подворачивалось рецензирование, журналистика, что может быть и не лучше; В.Шукшин зарабатывал киносъемками, где все на нервах…). К тому же в советское время всем, кроме русских, позволяли быть национальными, самобытными. В Советском Союзе всех поэтов, кроме русских, так и называли – национальные. Эти поэты держались за родные корни. Русских же, разметанных по разным уголкам страны, часто оторванным от родного дома, от дедовских могил, спихивали в стойло унификации, «кастрированных» общечеловеческих ценностей, всячески убеждая: «наш адрес - Советский Союз», «единая общность людей - советский народ» (хотя, скажите что-нибудь по-советски… - не получится!). Каким-то непостижимым образом Передреев это осознавал, даже не отдавая себе отчета в выборе столь необычного (в глазах eгo семьи, друзей) рода занятий как переводы. Это был побег от унификации.

Анатолий Передреев, со всей серьезностью и честностью его на­туры, стал размышлять над трудами других поэтов. Он думал об образ­ном строе их стиха, композиционных ходах, о подтексте, о слове, ритме; проникался пластикой иного лиризма: у прибалтийских поэтов лирика была с философским холодным уклоном, у кавказских – полна любви и неги, порой тяготела к афористичности. Ему интересно было узнавать о чем думают и как пишут другие. Он «вкопался» в эту почву и трудился, словно крестьянин на пашне.

А вечерами приходил в ЦДЛ (почти в течение 15 лет), сидел в буфете или ресторане, пил, смотрел на всех, будто взвешивал окружающих на своих внутренних «весах» - весомости в мире литературного профессионализма и человеческой состоятельности. Часто раздражался, дерзил, а то и дрался. Алкоголь тяготил (иначе бы он не написал горькое, трагическое по своей сути, выстраданное **стихотворение «Люди пьют…»).** Алкоголь разрушал психику, порой провоцировал агрессивность. Эту вторую часть его рабочего дня видели все, в итоге иные сузили его «московскую» жизнь до пьянки, низвели на уровень скандала, и считали, что поэт он в прошлом, а сейчас только страдает и пьет.

Нынешний читатель - слава Богу! - не знает такого Анатолия Передреева. Бытовая шелуха, грязь ушли на удобрение эпохи. Мы получили чистовик его тонкой душевной жизни, звенящую высоту его соловьиного голоса.

Но он и тогда, в периоды мрачных запоев, - с середины шестидесятых до самой кончины трудился немало. Написал прекрасные стихи о творчестве «Ты, как прежде, проснешься, поэт…», «Поэту». Он любил литературный труд и думал о нем. Это было не время немоты, а время оттачивания пера, подготовка к новому витку взлета в поэзии, и сам взлет, как в переводе из Новруза:

*…И счастье я узнал на свете,*

*и муку тяжкую узнал,*

*и я склонился над строкою.*

*Я, словно раб, к столу прирос…*

*И во весь рост*

*передо мною*

*встал жизни всей моей вопрос.*

*И я немедленно ответил*

*всей кровью сердца моего,*

*что есть*

*поэзия на свете,*

*а больше нету ничего!..*

Да он был в это время как раб, но раб поэзии. Его же обвиняли в том, что он в рабстве унациональных поэтов, видя лишь чисто внешние атрибуты рабскости (причем с их стороны), которые не он придумал, они вечны как мир. «Ракнима сердца основа», - писал переводчик Передреев… Он чувствовал, что Бог дал такую жизнь и такие труды не случайно, а как испытание, но объяснить это не старался. Просто писал и жил, как получалось. Однако, друзья-поэты не всегда понимали его, «работавшего на других», его **нерусского окружения чурались.**

Он много читал - современных, зарубежных поэтов, классику, Биб­лию. Овладел языком полемики, терминами литературной критики и те­ории поэзии; говоря его словами, «победил косноязычье» профессиональное. В полемике был безжалостен к «молодым», нацеленным на злободневность, политизированную поэзию. Критиковал «скорострельный» евтушенковский стиль, иронизируя: «Стало модно впадать в «дух гражданства», который «бродит». Причем иные это делают в состоянии «меньше, чем поэт».

В статье «Читая русских поэтов» предостерегал: «Особенно удивляет меня стремление некоторых… загипнотизировать себя зарубежными поэтическими именами. Никто не сомневается в пользе знакомства с творчеством Лорки, Рильке, Апполинера или Артюра Рембо, но щеголять образами в их духе, не усвоив глубоко собственных национальных традиций, - это заведомо обеднять себя». Он стремился разобраться «в опыте больших поэтов», причем в опыте сугубо художественном, постичь пластику, образный ряд, духовное совершенство классиков. Его раздумья над классикой обнаруживают осведомленность, блещут профессиональным блеском.

В работе, посвященной Рубцову, - «Мир, отраженный в душе», - он писал: «В сегодняшних сборниках стихов «шум времени» зачастую заглушает поэта. Причем, «осваивая» время, поэт часто принимает техническое чудо за поэтическое... В книге, если только она произведение души поэта, а не просто сгустки слуховой и зрительнойинформации, должна стоять тишина, подобная тишине глубокой чистой реки, в которой отражается окрестный мир». Он ценил несуетливость в поэзии. Вникал во всевозможные «мелочи», посвятил несколько страниц «деталям» в поэзии - «Всесильный Бог деталей».

Сергей Агальцов, редактор книги «Лебедь у дороги», писал: «О стихах Анатолий Передреев мог ярко, неподражаемо, свободноцитируя любимых поэтов, говорить часами - в домашней беседе, по телефону, днем и ночью – когда и где угодно. Его отношение к поэзии было чисто и свято.

Требовательный к себе, к своим стихам, он мог простить другому слабую проходную строчку, не мог простить одного – душевной неискренности, фальши… «Так хочется написать что-нибудь хорошее», - любил он повторять. Дальше его притязания не простирались. По меткому замечанию одного критика, Анатолий Передреев «не написал ничего лишнего».

Предчувствия его под конец жизни обострились. Он писал о любимой дочке Леночке:

*Ты еще моя певунья,*

*ты еще моя плясунья,*

*ты еще**моя, моя,*

*но уже мне**слышен ветер****,***

*что уносит**все на свете*

*в неизвестные края...*

Вот какие аргументы выдавал он в пользу своей неумершей поэзии! Ни одного междометия против: с ним считались все, кто понимал, что есть поэзия.

После смерти матери 21 июня 1979 (отец умер еще раньше) Анатолий Константинович стал круглым сиротой. Ему было 46 лет. Что значит сиротство 46-летнего мужчины, когда сиротство более 60 лет свирепствовало по всей Руси Великой?! Никто этого не заметил…

-------------

\* Нынче кладбище в Грозном разрушено, как и знакомый Передрееву город Грозный.

В.Белов говорил о себе: после смерти матери постигло такое горе, что три года ничего не писал. А как пережил потерю Передреев?.. Горе незаглушалось и морем выпивки. Появилась бездонная пустота, в которуюпровалилось его любящее сердце. Сердце сына. Он был хорошим сыном, долго жил с матерью, посвятил ей немало сти­хотворений.

Смерть матери означала и другую, не меньшую утрату - утрату той части родины, где рос и учился, имел друзей. После того, как исчезла деревня Новый Сокур, - и Грозный стал для него пепелищем, накотором только могилы отца и матери.\* Ничего не осталось из того, что подпитывало его душу, что привязывало ее к родным корням. Кор­ни были нещадно порублены. Менялись-заменялись Новый Сокур, Сара­тов, Грозный, Электросталь, Мовква; улица Добролюбова, Волгоградский проспект, Хорошевское шоссе... Земля уходила из-под ног. По­чва скрывалась под асфальтом. «Культурный слой» все увеличивал отчуждающий мертвый метраж.

В Москву с Чукотки приехал брат Борис. Он сказал: «Анатолий, может тебе ручку подарить?.. А то ты что-то ничего не пишешь!» Анатолий ответил с горечью: «Пишется, когда душа просит...»

Передреев в 80-е годы оказался один в жестком кольце Москвы. Идеальный вариант, подпитывающий литературное творчество, выбрали В.Белов, В.Распутин: они живут месяцами в Москве, где общаются с издателями, коллегами, реализуют свои труды. Какое-то время – самое плодотворное! - так было и у Анатолия Константиновича. Даже когда он только поселился в Москве, - терапия родины и рода еще какое-то время подлечивала его душу когда он приезжал к маме. Но после смерти Дарьи Федоровны остался один каменный лес – Москва. И он **понимал – до скончания.**

Писатели, родившиеся в Москве, никогда не испытают таких проблем. У них иной путь. Но вот закономерность: многие, приезжающие в Москву (я говорю не о частностях, а о большинстве) подающие надежды **таланты, в ней остаются, окруженные комфортом, новыми друзьями, повязанные связями. Они становятся обычными хорошими людьми, почти** москвичами, но творцами – в высшем Божественном смысле! – весьма редко (если только не выезжают на родину). Из них получаются неплохие редакторы, журналисты, функционеры разных мастей. Сходу можно привести немало примеров. При этом, интересно: я часто слышала от таких людей, что останься они в провинции, - погибли бы. Словно в Москве они не погибли! То есть эти люди не только перестали творить (в Божественном Святом смысле!), но и разучились трезво оценивать ситуацию.

Японцы для прогнозирования землетрясений выбрали один вид рыбок, которые перед подземными толчками очень беспокоятся, не могут найти себе убежища. Эти рыбки оказались особо чувствительны к электромагнитным колебаниям. Но помещенные в аквариум и окруженные заботой, они теряли свою чувствительность.

Я это говорю, чтобы было понятно: Анатолий Передреев – такая особо чувствительная «рыбка». Иначе бы он не стал столь ярким и тонким поэтом, не внес бы столько свежести и обаяния в русскую поэзию. И я это говорю, чтобы было понятно, какая катастрофа разразилась в его душе, когда он остался без родных и без родных просторов, откуда он все и черпал.

Очень хорошо понял Передреева его друг Станислав Куняев, который в своих воспоминаниях «Поэзия. Судьба. Россия» высказался о стихотворении «Лебедь у дороги»:

***Рядом с дымной полосою***

***воспаленного шоссе***

***лебедь летом и весною***

***проплывает как во сне...***

***Ничего она не слышит,***

***что-то думает свое,***

***жаркий воздух чуть колышет***

***отражение ее.***

***То ли спит она под кущей***

***ослепительного сна,***

***толь дорогою ревущей***

***навсегда оглушена.***

***То ль несет в краю блаженства***

***белоснежное крыло,***

***во владенья совершенства***

***не пуская никого.***

«Это о себе, о своей замкнутой душе, о попытке жить сосредоточенной жизнью, о своем все более возрастающем одиночестве в мире, который с каждым годом становился для Передреева все более чужим и ненужным. О попытке «никого не пускать» в свои «владенья совершенства», окруженные жарким, тяжелым воздухом жизни, проносящихся машин, ревущей дорогой… Мысль о невозможности вжиться в этот мир… перетекает из одного стихотворения в другое. Он поистине все чаще сам ощущает себя беззащитным существом, вроде «лебедя у дороги».

***В этом городе старом и новом***

***не найти ни начал, ни конца…***

***Нелегко поразить его словом,***

***удивить выраженьем лица…***

***И в потоке его многоликом,***

***в равномерном вращенье колес,***

***в равнодушном движеньи великом***

***нелегко удержаться от слез…***

Слезы все чаще стали появляться на его лице…»

И все же Анатолий Передреев был полон сил. Oн выстрадал стремление выступить на новом витке художественного подъема. Это нелегко, как будто сдираешь старую кожу… С нею сброшен и любимый его читателями юношеский оптимизм, задор человека, стремящегося к но­вым горизонтам. Годовые кольца на древе его жизни взлетели все вы­ше и сжимались все туже. Был виден тупик «крупноблочного мира ком­форта», заслонивший простор родины и ту тропинку среди полей*,* по которой они с мамой, Дарьей Федоровной в детские года каждое лето шли к своей родной деревне.

Пока душа жива, она сопротивляется, не спешит в тупик. Вот стихотворение (начало поэмы) последнего года жизни:

***Кто построил тебя, дом,***

***не гордясь своим трудом?***

***Плод бездушного проекта,***

***современности стандарт***

***у ревущего проспекта,***

***где не слышен месяц Март...***

***Заглушая песню ветра***

***и раскаты вешних сил,***

***чем ты в каменные недра***

***мою душу заманил?!***

***Крупноблочный мир комфорта***

***между небом и землей,***

***где ни Бога нет,***

***ни черта,***

***где не ходит Домовой.***

По этим строкам не скажешь, что поэт деградировал, «истратился» на переводах. Здесь обнажен протест против тисков цивилизации, против бетонного плена; осознается нарушенная гармония на пространстве любимой родины, и, в связи с этим, - тяжесть своего **жизненного креста: все понимать, остро чувствовать и – не иметь возможности ничего изменить.**

Несмотря на внешне трудную жизнь поэта, стихи его в целом пышат духовным здоровьем, как, например, стихи Пушкина и Есенина. Духовно здоровый человек отторгает грязную, воспаленную, удушливую го­родскую среду конца XX века, окружающую и сдавливающую человека. Приметы века в стихах Передреева - не только «призывы, лозунги его», «простодушные плакаты на стенах красных уголков», которым давно никто не верил. Приметы века - и одинокая белая лебедь у грязной дороги, и голуби, коверкающие красоту полета в тупике заводского цехового пространства, и ревущее за окном шоссе. «ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!» - вопиет душа поэта. Когда за окном ревет не корова, «не слышен месяц Март», не петух поет или соловушка, а мо­тает душу едкая **автотрасса, - это не нормально, не здорово! В такой среде не выживет никто. Сначала сгинет более тонко чувствующая душа поэта, затем - очередь за всеми остальными.**

Анатолий Константинович умер 18 ноября 1987 года от инфаркта в Москве в собственной квартире. 30 дней он не дожи до 55-летия. Похоронен на Востряковском кладбище.

Еще раньше он с горесью вписал свои предчувствия в перевод Новруза:

***Сердечники умирают…***

***Вот только что был***

***и - нет...***

***Внезапно***

***мир покидают…***

***Все чаще в расцвете лет…***

Если вам надо «почистить» душу, разъедаемую современными противоречиями, одичавшую от дебилизма телевидения и агрессивности кино, - читайте стихи Анатолия Передреева, лечащие нас своей мяг­кой, светлой энергией, говоря его словами, полные «прозрачной высоты». Ибо он черпал силу стиха, гармонию и глубину в мощной энергетике своих предков, в любви семьи, в домашнем очага, в родной земле и пропускал все это через свою страдающую душу.

Читатель Передреева не знаком ни с одним черновиком, стихом незрелым, пустым, невесомым. Написавший немного, он как бы явился сразу целиком и полностью оформленным поэтом, наделенным абсолютным чувством гармонии, слова, ритма, особой музыкальности; строгий, точный, классически «простой», и в то же время, полный клокочущей внутренней энергии и романтизма. Ни слова фальши! **Искренность и чистота, достоинство, независимость.** Фарисейство чуждо истинному поэту, высокая душа которого говорит с небесами, с Богом. Друзья Передреева отмечают, что он, обреченный на нелегкое существование, был подчеркнуто щеголеват в одежде, имел«вольные повадки свободного человека», «великолепную стать» и «магнетическую силу». Он был симпатичным, обаятельным, как и его стихи, - глубоко искренние, они блещут природной своей красотой, освещенной божественным светом таланта.

**-------**

Выражаю сердечную благодарность оказавшим мне помощь в этой работе Б.К.Передрееву, В.К.Передреевой, И.П.Передрееву, М.Ф.Алексеевой (ур. Передреевой), Г.С.Михайловой, А.Н.Жукову, Л.И.Скворцову, С.Н.Есину, В.Ф.Бойко, Р.П.Подунову, В.Дробышеву, Е.Васильевой, А.А.Парпара, А.Н.Васину.

ПАСПОРТ – ФОТО К БИОГРАФИИ А.К. ПЕРЕДРЕЕВА (1932-1987)

1. А.К.Передреев, студент 4 курса Литинститута с мамой, Дарьей Федоровной в родительском доме в Грозном в конце лета 1963 года. Фото из семейного альбома А.К.Передреева, хранилось у сестры Валентины.

2. Передреева Дарья Федоровна (1898, Новый Сокур – 1979, Грозный), мама поэта (мать-героиня – мать восьми детей) в Грозном в 1970-е годы. Фото из семейного альбома младшего брата Бориса.

3. Передреев Константин Васильевич (1892, Новый Сокур – 1976, Грозный), отец поэта в Грозном в 1970-е годы. Фото из семейного альбома младшего брата Бориса.

4. Равнина на месте дома, где родился А.К.Передреев, и деревни Новый Сокур, исчезнувших в 1970-е годы. Фото 2001 года, предоставлено музеем средней школы в Октябрьском Городке Татищевского района Саратовской области.

5. Никольский собор ХIХ века в селе Николаевский (ныне Октябрьский) Городок, в котором в 1932 году крещен поэт А.К.Передреев. Церковь снесена в 1930 годы. Ныне не восстановлена. Рисунок воссоздан на основе черно-белой фотографии из местного музея московским художником Ю.Дорошенко (из литературно-музыкальной студии А.Н.Васина).

6. Отчий дом в Грозном. «В этом доме думают, гадают обо мне мои отец и мать… В этом доме ждет меня годами прибранная, чистая кровать…» Неоднократно воспет в стихах. Фото 1963 года Б.К.Передреева.

7. Слева брат Илья Передреев. Погиб на войне. На обороте фото надпись: «7.ХI.1944 из Югославии (госпиталь) сестре Валентине».

8. А.К.Передреев в армии близ Барановичей в 1954 году. На обороте надпись его рукой: «Домой на память от Анатолия – воина 8.ХI.1954 г.» Фото из семейного альбома сестры Валентины.

9. Солдат спит – служба идет. А.К.Передреев спит на траве во время службы в армии близ Барановичей в 1954 году. Фото повреждено, находится в семейном альбоме сестры Валентины.

10. Анатолий и Борис Передреевы в Саратове зимой 1958-1959 годов (с соседкой). Слева Борис, справа Анатолий держит в руках племянницу, дочь Бориса. Фото из семейного альбома Б.К.Передреева.

11. А.К.Передреев (слева) и В.Дробышев на Братской ГЭС осень 1959 – весна 1960. Фото из семейного альбома А.К.Передреева, хранилось у сестры Валентины.

12. Семья Передреевых в Грозном в 1964. Верхний ряд (слева направо): сестра Валентина, Анатолий, жена младшего брата Бориса Надя; нижний ряд: мама Дарья Федоровна, брат Михаил, вернулся с войны без ног, ему посвящена «Баллада о безногом сапожнике», брат Борис, на руках Передреевых – две дочери Бориса. Фото из семейного альбома Б.К.Передреева.

13. А.К.Передреев в саду дома брата Михаила в Грозном летом 1963 года. Фото из семейного альбома сестры Валентины.

14. А.К.Передреев. Москва, 1964 год. Фото Н.Кочнева.

15. А.К.Передреев. Фото Н.Кочнева.

16. Дарья Федоровна Передреева, мать поэта с внуками в Грозном в 1973-1974 годах. В нижнем ряду в центре дочь поэта Лена.

17. А.К.Передреев с женой Шемой в Грозном, конец 1970-х годов. Фото из семейного альбома А.К.Передреева, хранилось у сестры Валентины.

18-21. А.К.Передреев в июле 1970 в Подмосковье ок. г. Химки, и в Москве.

22. А.К.Передреев в Москве в 1970-е годы. Фото Б.К.Передреева. Передано двоюродным братом поэта (по отцу) Иваном Петровичем Передреевым.

23. Лена Передреева, дочь поэта (в центре) с двоюродными сестрами и братом в Грозном ок. 1979. Фото из семейного альбома Б.К.Передреева.

24. А.К.Передреев. Фото передано А.Н.Васиным и Е.Васильевой.

25. Зрелый А.К.Передреев. На этом снимке самые выразительные глаза.

26-27. Могила А.К.Передреева на Востряковском кладбище, уч. 103.

28. Газета «Окраина», названа по стихотворению А.К.Передреева, выходила в Саратове в Приволжском книжном издательстве (1992-1998 гг.), художник В.К.Бутенко, редактор А.И.Баженова, главный редактор издательства.

29. Портрет А.К.Передреева из газеты «Завтра» №25 (265) от 28.12.1998.

30. Школьный музей со стендом (в правом верхнем углу), посвященным А.К.Передрееву в Средней школе села Октябрьский Городок (бывший Николаевский) в Татищевском районе Саратовской области, на родине поэта. Фото передано школьным музеем в 2001 году.

31. Вечер памяти А.К.Передреева в Москве в ЦДЛ в 1997 году. В первом ряду слева направо: А.А.Парпара, В.И.Гусев; первый во втором ряду В.В.Кожинов. Фото предоставлено Е.Васильевой.

Материал собран А.Баженовой.

АНАТОЛИЙ ПЕРЕДРЕЕВ

ОКРАИНА

*Околица родная, что случилось,*

*Окраина, куда нас занесло?*

*И города из нас не получилось,*

*И навсегда утрачено село.*

*Взрастив свои акации и вишни,*

*Ушла в себя и думаешь сама:*

*Зачем ты понастроила жилища,*

*Которые ни избы, ни дома?!*

*Как будто бы под сенью этих вишен,*

*Под каждым этим низким потолком*

*Ты собиралась только выжить, выжить,*

*А жить потом ты думала, потом.*

*Окраина, ты вечером темнеешь,*

*Томясь большим сиянием огней,*

*А на рассвете так росисто веешь*

*Воспоминаньем свежести полей.*

*И тишиной, и речкой, и лесами,*

*И всем, что было отчею судьбой...*

*Разбуженная ранними гудками,*

*Окутанная дымкой голубой!*

ВЛАДИМИР ЦЫБИН

СУДЬБЫ РУССКИХ ПОЭТОВ\*

(Анатолий Передреев)

Умершие друзья мне снились редко: вечность — нагая.

И вот — два сна сразу. Сначала приснился Борис Примеров. Будто я в каком-то лесу на поляне. И я один. И вдруг откуда-то заполохнуло густым и беспросветным дымом, весь свет обметало. И что-то внутри клубов дыма шевелится — изломанная человеческая фигура. И вижу, Боря с закрытыми глазами качается, суматошно раздвигает дым плавающими руками. И сам он — дым, обметанный тенью. Окутывает его, затягивает назад.

- Володечка! – кричит беззвучным голосом сновидения.

Иду к нему в провальность тяжко по потусветной невесомости, а Борю уже отнесло в черно-синие глуби. И я во сне понимаю, что это его душа пытается проструиться во вмятины сего мира: душу дым не пускает, и гибнет он еще раз...

А раньше видел Толю Передреева: стоит он возле моей кровати во впадине темноты. Я гляжу на него, а он — тускло-влажный и говорит: «Спасибо!» — «А за что?» И он ушел, словно туман, объеденный дождем.

Я проснулся. За окном в листьях висел дождь, по улице, как по ущелью, уходил туман живой, земной. Мне казалось, что я увижу уходящего из моего сна Анатолия. Но никого не было среди предутреннего одиночества мира. Снова заснул и увидел часы во все небо, но без стрелок. Это часы всеобщего забвения...

А вечером позвонила дочка Анатолия и сказала «спасибо» мне за выступление на защите ее диплома в Литинституте.

Меня поразило это совпадение: сны к нам приходят из будущего, во сне мы изменяемся, оставаясь без тела с одной своей сутью.

А когда во сне воскресают крылья — приходят друзья на какую-то страшную, безмолвную исповедь.

Память во мне распрямляется. И душа теперь все чаще и чаще выпадает в сновиденья, где с той стороны себя слышу стихи умерших моих сверстников и друзей. Стихи движутся рывками оттуда — в меня, к земле, завернутой в зеленый шелест, в терпеливую синь, в вечное эхо...

«О всех ушедших грезит конопляник с широким месяцем над голубым прудом», — эти есенинские строки любил повторять Анатолий Передреев. Есенина Анатолий мог читать наизусть часами -

---------

\* Впервые опубликовано в журнале «Молодая гвардия».

он его еще в детстве узнал по кровному поэтическому родству.

— Вот стихи, — говорил он. — А у этих душа без окон.

— У этих чужебесие, — ему в согласие говорил и я. — У них нет памяти корней. Пишут по верху эха.

— Булькнул головой! — отозвался он о головных стихах очередного «метафориста» Парщикова.

Как-то Передреев спросил у меня:

— Ты заметил, у Есенина сердце всегда — глупое: «Глупое сердце, не бейся». Вот и живут поэты с глупым сердцем, которое их мучит.

— Намученное сердце — а без этого какие стихи? — сказал я вдогон его мысли.

Анатолий знал, что сердце должно услышать само себя, что стихи можно разбудить только своим сердцебиением. И страшней всего, когда сам человек отлучает свое сердце от Бога, как это сделалось с Есениным в начале революции...

Чувствовалось, что Анатолий ведет с Есениным какой-то свой сокровенный разговор, доискивается ответа на свои вопросы и сомнения.

— Есенин ходил всегда в шляпе или с непокрытой головой... — удивлялся он. И сам себе отвечал: — Он хотел одновременно походить на Пушкина и Байрона. Не зря у него: «по-байроновски наша собачонка меня встречает с лаем у ворот». И Пушкин у него такой же, каким был в жизни: «Блондинистый, почти белесый».

Судьба человека похожа на судьбу тех, кого он больше всего любит. Судьба поэта хранится в его таланте (талане), не зря сказано народом: «Талант не туман: не мимо летит». Не мимо. Но жертвенно. На каком-то страшном русском самозакланье. Только русский человек накладывает на себя самоопалу.

Я отличаю русских (по духу) поэтов от комнатного акынства стиходелов не по «второму плану», лирическому герою, а по предельной исповедальности, по их святому греху губить себя в слове до конца, идти на дно, в небрежении к себе, к своему предназначению даже ради какого-то тайного, почти юродивого пророчества о себе и своей родине. Оттого и жили распрямленными в себе и Рубцов, и Передреев, и Павел Васильев, и Есенин, подводя свою душу к пропасти, к пропаду. Подойти к пропасти — и очнуться: «Куда это меня?»

*Мне кажется, что посреди веселий,*

*Один в организованных огнях,*

*Я как дурак кружусь на карусели,*

*Кружусь, кружусь на неживых конях.*

Живая душа оторвалась, как поврежденный листок от дерева в мертвый провальный воздух, в круговую центробежность, а очнется от морока полета – и видит, что не отнесло ее в пропасть, что кружит она вокруг древа родительского, что спеленута она белыми пеленами слов и выходят стихи – не опись внешнего мира, а весть… Душа вещает. Это русское вестничество… Поэт-вестник в глубях своих понимает, что «законы духа метричны», что ритмы истории русской укачивают разум, и тогда душа начинает мыслить болью и теснотой сердца. Ему чужда гигиеническая совесть рационалиста, как чужды метафорические загромождения «информационной поэзии».

Чтобы понять Анатолия Константиновича Передреева, нужно постоянно иметь все это в виду, понять, как он «входит в кратер своего произведения» (Сен-Жан-Перс), в пространство всеобщей одушевленности мира. Кстати, и само пространство у русских не длительность, как у европейцев, а - всевещность и всевечность: когда

*И, на равнину тихо выйдя,*

*В сиянье лунного огня*

*Со всех сторон,*

 *меня не видя*

*Деревья смотрят на меня.*

И за всем этим образ равнины – узла множества деталей, волны поглощающего самого себя пространства.

Я познакомился с Анатолием Передреевым в начале 60-х годов во дворе Литературного института. Сам из Грозного, работал шофером, рекомендуют Н. Асеев и Б. Слуцкий. Ого! Такое случается не часто, особенно со старчески раздражительным Асеевым.

Парень явно располагал к себе — особенно взгляд: глубокий и удивленно-отзывный, так обыкновенно смотрят дети на добрых зверей. И еще было такое в нем, когда говорят: взгляд – об заклад - вызов, разгульная веселинка.

В приемной комиссии я взял его стихи, поданные им на творческий конкурс, который был, как всегда, обилен на поступающих, так что было из чего выбирать.

Обыкновенно преобладал литературный планктон. Но здесь было нечто новое, необычайное, словно начинающий поэт родился сразу завершенным поэтом. Стихи Передреева поразили меня какой-то умной и насмешливой искренностью. Больше всего «ботинки»: «Я еду в город Севастополь в морскую школу поступать… А пассажиры мне: «Братишка, таких нельзя не принимать, да ты, милок, в своих ботинках парады будешь принимать». Это ведь сказано про всех нас, деревенских и провинциальных мальчишек, мечтавших учиться и ехавших на последние материнские гроши в начищенных ботинках и с зашитыми в трусы деньгами в далекий и умный город. Это, конечно же, не поколение тех, чьи отцы отсиделись в тылах. Мне была близка и понятна горькая усмешка над тем, что с него, спящего, сняли ботинки:

И было мне

*Понятно только,*

*Что я остался босиком…*

*Ну как я*

*В город Севастополь*

*Таким поеду босяком!*

Беда, конечно, но не плакать же, а вздохнуть и махнуть горько рукой: счастлив теряющий, русская душа не скопидому дадена, не у черта украдена, а свечка, затепленная невесть кому и для чего.

Рядом были такие же хорошие, с молодой, надтреснутой печалинкой стихи.

Я встретил Анатолия во дворе Литературного института и сказал, что ему надо беречь свой талант и от собственной беззащитности, и мастеровитой законченности: мастерство должно поглощаться душой. Сказал и о том, что народ долго и мучительно (не одно поколение) собирает и копит в своих генах талант.

И мы с тех пор подружились навсегда с ним. Передреева вскоре заметили. Много ему помог его институтский руководитель — поэт Егор Исаев. Передреева стали печатать охотно и почтительно.

Не разрушило его испытание успехом. Он прошел достойно: относился к своим стихам строго и печатал только лучшее. Оттого и много переводил, чтобы жить как-то, кормиться. Это в основном было «донорство». Как-то я ему в утешение сказал, потому что и сам переводил (прорвав мафиозное загромождение переводчиков):

— А знаешь, Толя, что взаимоотношения переводчика и автора — это взаимоотношения лошади и всадника, только лошадь думает вместо всадника.

Он долго смеялся.

Передреев верно почувствовал, что «я» у Пастернака — это его пожизненное добровольное гетто, а в гетто вырабатывается какой-то очень личный, местный классицизм узников собственного стиля.

После статьи Передреева в литературных кругах был поднят негодующий гул:

— На кого руку поднял!

А подумать, что тут страшного? Так один поэт думает о другом поэте. Просто наступило время смены одной поэтической эпохи другой, требующей переосмысления. Но многие это воспринимали как перераспределение авторитетов. Ведь и Пушкин был «отлучен» Писаревым на целое поколение от поэзии — вместо него пришли эпигоны барон Розен и Ознобишин...

Эпоха самозашифровки, законченности обедненного лирического «я» размыкала формы и способы поэтического мира; поэзия, как Антей, ждала прикосновения к земле, к истокам, без песенной силы русского языка она несла в себе признаки вырождения…

К сожалению, все остановилось на полпути: погиб Н. Рубцов, умер Прасолов, почти не писали Б. Примеров и А. Передреев, окруженные организованным молчанием; власти благоволили эстрадникам. При гробовом молчании ликбезовской критики прошла реабилитация Бориса Корнилова и Павла Васильева.

Происходило, как и ныне, отлучение поэзии от народа. И это при неуклонном снижении качества жизни, когда прошлое должно было многократно повториться в будущем: человек, как лошадь, крутящая жернова, неотлучно пребывал возле страшных жерновов истории. Старело само вещество жизни.

И на этом фоне все же поражала любовь к жизни, к «игре» у таких людей, как Передреев. Любовь к жизни — это и любовь к своему личному прошлому. Есть люди, которые не любят оставаться с ним наедине и от этого мучаются,.. «сочиненные» под эпоху (Багрицкий, Кирсанов, Дудин).

В сущности, это страх перед будущим, а страх не может сознаться сам себе в правде.

Передрееву, чтобы жить, нужны были друзья, нужны были те, кого он мог опекать, не поучая, а научая. Вокруг него всегда были молодые поэты, чьи стихи он мог читать наизусть (конечно, удачные): О. Кочетков, В. Байбаков, литинститутовцы. Похвала его много значила для них, знающих справедливый передреевский характер.

Не забуду, как он об одном неудачном поэте сказал жестко и отрешенно:

— Переучивает правду, болван.

Талантливый человек делает тебя тоже талантливым, часто невольно ты как бы облучаешься его качествами. Так вот было и с Анатолием Передреевым. И когда он читал стихи Тютчева или Фета, то в его чтении они звучали по-новому. И ты начинал слышать то, что до этого было заграждено от тебя, слышал саму душу слов и ритмов. Тютчев и Фет — путь как бы по периферии века: «главные» пути всегда либо перенаселены хрестоматийностью, либо самоисчерпываются. И оказывается, что будущее взращивается в «отростках», не из ствольной прочности, а из побегов.

И это неземно-тютчевское виденье потрясло моего друга.

*И как виденье, внешний мир ушел...*

*И человек, как сирота бездомный,*

*Стоит теперь и немощен и гол,*

*Лицом к лицу пред пропастию темной.*

Прочел, как вздохнул до глубины души. Не зря сказано: «Каждый писатель создает своих предшественников» (Борхес). Он и «создавал» их: Есенина, Тютчева, Блока. Фет же жил в нем особо, тоже созданный по-своему, для какого-то тайного отлета от бытия в раннюю, несправедливую смерть его души — пленницы бесноватого времени.

И выходило, чтобы любить жизнь, надо забыться, заглянуть в бездну, откуда стихами только и спасаются.

Отлученное от Бога поколение в беспамятстве и уже само отлучалось от великого сиротства безверия. И читало стихи, как молитвы...

Стояла ленивая, загазованная осень в Москве. Еще только что затекали слабительные спазмы «перестройки» с ее самовнушением и самообнаруживанием, и кухонные либералы жили угодно и пищеводно, еще SOS-реалист М. Дудин не заклинал по радио, требуя покаяния перед «перестройкой». И «аграрный» Черниченко не показывал кукиш в кармане своему партбилету. Но уже стиходельцы писали «смелые» стихи и датировали их дальними прошлыми годами. Литвожди перекрашивали свои биографии и переставляли столы в кабинетах. Слабограмотного М. Горбачева хвалили, Богуславский объявил его «самым грамотным генсеком» (!). Писатели делились на группы и отделялись друг от друга. Будущая трагедия страны начиналась с фарса, идеологического раешника.

Анатолий уже чувствовал, что наступает время лжецов и расстриг.

— С чего это они? — указывал он на застольные стайки в ЦДЛе.— Погляди на К.— поэтесса с лицом Берии.— И тут же кивнул головой в сторону Поженяна.— А он куда катит? Со своей телесной колесностью? — сказал не зло, а по-детски недоумевая.

— В рыночные отношения,— поддержал шутку Слава Байбаков.

Вообще Анатолий Константинович любил острословие; так, указывая на поэта Шкляревского, тоже дружелюбно (тогда они еще дружили) оценил:

— Игорь. Жанр — потрепанная поэма.

Но иногда его замечания были злы и непримиримы.

— У плешивого генсека и плешивая перестройка (тогда это еще звучало дико: забалтывание только-только началось).

Когда завел кто-то речь о А. Яковлеве, Передреев коротко бросил:

— Выбросок.

— Об этом лучше сказал Константин Батюшков.

— А что он сказал?

— Выблядок счастья.

И опять благодушно мы посмеялись и забыли об этом разговоре.

Только один раз я слышал, как Передреев не острил, а клеймил. Как-то к нему подошел нынешний министр, а тогда критик С. И что-то сказал вроде того, что, мол, поучись у Евтушенко.

 – Это ты мне? — вскипел Анатолий. — Пупсик!

И, отойдя, добавил:

— Бархатная посредственность!

Зачем я это пишу? А чтобы показать ту атмосферу, в которой мы жили и дышали, пока сварную семью литераторов не поделило на два непримиримых лагеря. Раскол и распад начались именно отсюда. И теперь (в этом поколении) вряд ли соединишь за одним делом и даже застольем «апрелевца» и патриота, «русскоязычного» и «русского», «заграничника» и «туземца». Многие даже не здороваются уже друг с другом, числя супротивника в «бездарях». Сила Удерживающая покинула сие бранчливое общество...

Все годы после революции истинные русские поэты в провесе, прочти без выхода к читателю, издают одну-две книжки в 10 — 12 лет. Чтобы издаваться, нужно было комсомолить в стихах либо надеяться на «руку», реже — на проницательного издателя. Но все же с грехом пополам издавались. Поэзия жила и двигалась.

Более того — из ЦК веяло все больше холодом антирусизма, доходящего в ненависти до нелепостей. Так, после пресловутой статьи А. Яковлева о «классовости и интернационализме» нам всем в редакциях стали возвращать стихи, где хотя бы вскользь упоминалась Россия или хоть полслова — о горькой жизни народа. Кстати, и утешительные стихи о том же возвращались.

Тогда-то Анатолий Константинович сказал мне:

*—* Вот у тебя есть Семиречье, твой казачий род. А я ведь вроде как безродный. Вырос на Кавказе, в Грозном, — не в коренной России.

(Он тогда еще не понял, что открыт повальный геноцид русского народа. И в Семиречье, бывшей русской Сибири, процветает ползучая назарбаевщина с изгнанием русских с земель, где они жили 300 лет: из Казахстана уехало уже более миллиона русских, вытесненных «казяинами страны»).

— Родина внутри нас, — сказал я ему. — Вот турки живут на византийской земле, чего же их греки не гонят?

И мы бесшабашно чокнулись, чтобы не пить горькую, чтобы, как шутил Анатолий, «очеловечиться».

Сейчас еще хуже. Но думаю, что не следует отчаиваться. Просто мы оказались на краю отрицательной исторической амплитуды: то, что отторгнуто, подарено, бездарно проиграно, — не навсегда. Правители пройдут, и Россия останется; историческое тело страны воссоздастся.

И передреевское обостренное чувство Родины, России — это не только его личный дар, но и нерасчленимое наследство русской культуры, так нужное в наше время лжеправителей. Этот дар сделал и утвердил его большим русским поэтом.

Анатолий не только писал стихи, но и много думал (реже писал) о судьбах русской поэзии, о личности поэта, о лжефетишах и приписках славы в литературе.

Одна из его статей была о Пастернаке. Когда я спросил его об этой статье, он полушутливо ответил:

— Молчали... Надо было встряхнуть стаю.

Сейчас, в постперестроечное ли или недоперестроечное время его, уже мертвого, продолжают упрекать, мол, поднял руку на самого Пастернака. То, что я помню, может быть, прояснит смысл и намерения этой статьи.

Вот что мне сказал Передреев:

— Пастернака тоже, как когда-то Маяковского, начали насильственно вводить, словно картофель при Екатерине. Получается, что наша поэзия — только он. Нет ни Есенина, ни Твардовского. В тени Ахматова (без обещанной Нобелевской). Нам нужен во всем единственно непогрешимый вождь - Ленин. Абсолют. Представь себе литературу, которая состояла бы, скажем, из Толстого — и «толстых». Это смерть духовная. А о том, кто гений народа, скажет время. Я не слышу в Пастернаке боли, не слышу...

— Говорят, что твоя статья во вред.

— Вот после Писарева Пушкина мы понимаем глубже и без идолопоклонства.

Так отстаивал свое право на личное мнение в литературе Анатолий Передреев, человек с умной душой и терпением своей особой мысли. Для него быть самим собою значило — слышать дыхание почвы и правды. Для него всякое преувеличение было ложью. А ложь — это правда сатаны.

Вот он как-то процитировал, как всегда неожиданно, Вознесенского: «Стареющие женщины любви учили нас». Ложь! Если бы написал не «нас», а «меня», то - Бог с ним! А то - «нас»! — Тебя и меня «учили»? Любовь со старухой? Ложь падает на все поколение.

Позже уже по другому поводу он заметил:

— У Вознесенского недозрелые метафоры.

Я добавил свое:

— Бойня метафор. Есть уже поэты метафористы, так они — с перегнившими метафорами, если, конечно, жесть может гнить.

Ложь и непонимание окружали и окружают русских поэтов «от земли»: их называли «земляными», затем — «почвенными», певцами березок, желая опримитизировать, сузить и исказить.

Но они были и остаются достойными наследниками и Пушкина, и Блока, и Гумилева и не только поэтами земли (что и само по себе прекрасно), но и — мечты, с наследственным трагическим «космическим» сознанием. Стоит хотя бы прочесть такие стихи А. Передреева:

*Бесконечностью пустою*

*Мчат миры, себя круша,*

*Нету неба над тобою,*

*Беззащитная душа.*

Это обморочное одиночество души человека второго тысячелетия, погруженной в личный апокалипсис. Затменная оплывами времени душа оживала совестью.

«Какая-то дистиллированная совесть,— сказал как-то Анатолий о «нравственных» высказываниях Д. Лихачева и, подумав, добавил: — Нет, механическая совесть... Совестью нужно думать, как поэт Александр Яшин». Анатолий уже догадывался, что совесть — это сердце души, когда она живая, пусть и угнетенная насильственным безверием:

*Так зачем порой ночною*

*Ты глядишь в него, глядишь*

*И не с черною дырою*

*Со звездою говоришь.*

Это от «бездны» Тютчева, от его дневной и ночной души —
вечное бдение над тайной бесконечности, печаль узнавания в себе
нескончаемой вечности сущего. Меня эти стихи Анатолия всегда
поражали и глубиной, и нагой безыскусственностью. Отвергая
все нарочитое, узорное, как-то мне он сказал удивленно об «эстрадниках»: «Слушай, Володечка, а они стихи пишут не как мы, а — справа налево, от рифмы. Стихи у них источены рифмами, как яблоко червями.— И добавил, не зная, что точно так же говорил когда-то Б. Шергин: — Плевелы всевают в голову».

Я привожу все эти высказывания Анатолия Константиновича, чтобы показать, на чем он стоял как поэт, что исповедовал, потому что его поэзия — это и подтверждение его души и ума, их органическое единство. Потому высказывания его о других поэтах — это сверка со своим корневым пониманием и поэзии, и жизни, бескомпромиссность своей линии «творческого поведения» (М. Пришвин).

Поэтому он не мог принять как поэта и И. Бродского — ни духовно, ни эстетически.

— Говорят, что его поэзия — информационная. Что это? Компьютер не заплачет. Ну и что, если талантлив? — возражал он мне.— Красивый металлический дворец. А поэт строит не дворцы, не офисы, а собор. В самом себе. Есть непреодолимая сила лирической соборности. То же самое Л. Мартынов. И умен, и начитан, и плодовит, как муравейник, а — вне души народа. Кровеносные сосуды расположены поверх черепа. Он стихи тоже измышляет. А посмотри у Коли Рубцова: только о самом-самом своем. Написал, как отстрадал...

И действительно Николай Рубцов будил слова своим сердцебиением. У него нет тайномыслия, а есть тайна. И это хорошо почувствовал Передреев, написав о нем:

*Лишь здесь порой, как на последней тризне.*

*По стопке выпьют... Выпьют подругой...*

Быть может, потому, что он при жизни

*О мертвых помнил, как никто другой!*

Оттого и любил Передреев стихи своего друга Николая Рубцова именно за эту память о мертвых, о могилах, без чего нет русского поэта, а есть искус и чужебесие.

Вот почему, говоря о русской интеллигенции, следует говорить именно о ней и ее предчувствителях (Блок, Гумилев, Есенин и позже Смеляков, Федоров, Рубцов, Передреев — в поэзии), а не псевдонимный слог ее, который существовал и существует как бы параллельно ей у интеллигенции в маске, без лица, притом маска так приросла к коже, что стала лицом — не отодрать. И нет ни западников, ни славянофилов здесь, а только — внешние обозначения.

А по сути два пласта: пророчество — и бесовство, корни — и прививки, молитва — и фельетон, правда — и лукавство, свое — и чужое...

И второй слой — образованщина — вне исторической грибницы.

*Ты помнил тех далеких, но живых,*

*Ты победил косноязычье мира,*

*И в наши дни ты поднял лиру их,*

*Хоть тяжела классическая лира.*

Так сказать в стихах о чувстве внутренней связи и ответственности перед душой русской культуры мог только прямой правопреемник ее, кровный сын ее.

— Вместо совести у них — желчь,— сказал Передреев о хулителях.— Поэты — пасторы на воздусях перестройки.

И я понимал его грусть о судьбе русской поэзии, когда опять объявлялись новые вождята от стиха; предчувствовал в Анатолии Передрееве судьбу Н. Рубцова — быть незамеченным при жизни, более того — почти ненужным. Но тем и живы, и крепки такие поэты, как Рубцов и Передреев, что там, где другие изобличают, клеймят, они – плачут, потому, что родились на грустной русской земле, что крепко держатся зарока: душа живет только в совести.

Но все «разоблачатели», разрушители от стиха уже почти мертвые заживо. Есть страшная, греховная ложь всеотрицания — яд разрушает сосуд, в котором находится. Яд потому и убивает, что — мертвый. Вздох не слышен, но он — живой. Вздохом души пробивается русская поэзия в будущее, где воскресли Крест и Слово: Есенин, Рубцов, Передреев.

ВАДИМ КОЖИНОВ

СУДЬБА АНАТОЛИЯ ПЕРЕДРЕЕВА

Мы познакомились - и уже не могли расстаться целые сутки — в предзимний день 1960 года. Анатолий к тому времени еще не создал ни одного из тех своих зрелых стихотворений, которые обеспечили ему место в любой — даже наиболее придирчиво составленной — антологии русской поэзии второй половины XX века. Однако и тогда легко можно было предвидеть, что он создаст такие стихотворения.

Весь еще лучившийся светом юности, но успевший уже немало пережить и узнать, Анатолий Передреев приехал «завоевать» столицу — и не скрывал этого своего плана. Ранние месяцы в саратовской деревне, детство, отрочество и первые юные лета на Кавказе (столь много значившем в истории отечественной литературы), странствия по Сибири — все это сплавилось в глубокое и многостороннее понимание и чувство жизни, а затем и поэзии.

И Анатолий Передреев сумел всего за несколько лет обрести безусловное признание. Его высоко оценили совершенно разные, даже в сущности несовместимые люди литературы — и Николай Асеев, и Александр Яшин, и Борис Слуцкий, и Виктор Астафьев, и Александр Межиров, и Василий Белов, и Ярослав Смеляков, и Олег Михайлов, и Александр Михайлов, и Зиновий Паперный, и Егор Исаев, и Лев Аннинский, и Александр Вампилов, и Владимир Соколов, и Александр Твардовский (который печатал Передреева в своем журнале, хотя стихи «фильтровались» им с предельной требовательностью и даже подчас капризностью), и, конечно, намного раньше, чем кто-либо другой, - Станислав Куняев, и… - да всех и не перечислить…

Сам поэт проявил редкостную широту литературных интересов: так, он бывал и в сохранявшем черты богемы начала века «салоне» Лили Брик, и в абсолютно несовместимым с этим влиятельнейшим мирком окружении Николая Рубцова (который, кстати сказать, одного только Анатолия Передреева признавал в качестве «наставника»).

Все это может показаться странным, если на учитывать, что Анатолий Передреев (очень рано обрел подлинную к у л ь т у р у творческого сознания и самого поведения — культуру, состоящую не в наборе сведений и мнений, а в глубине п о н и м а н и я и п е р е ж и в а н и я любого явления поэзии и мира. Проблема культуры — это отнюдь не количественная (сумма знаний и навыков), но сугубо «качественная» проблема. Суть дела не в том, **чтобы знать** как можно больше, но в выращенной в себе способности распознать и выделить безусловные и высшие ценности. И Анатолий Передреев очень рано обрел эту способность. Он, например, безошибочно находил в наследии поэтов второго, третьего и т.п. ряда — скажем, Апухтина и Фофанова - те несомненные достижения, которые и обеспечивают им законное место на русском Парнасе. И, быть может,особенно замечательна была его способность беспристрастнооценить далекое или вообще чуждое.

Когда я позднее, уже в семидесятых годах, стал читать ему стихотворения Юрия Кузнецова, он воспринимал их с резким сопротивлением, даже, в сущности, враждебно: ведь дело шло о совершенно ином, далеком от передреевского, поэтическом мире. И все же, в конце концов, Анатолий сказал, что вот, мол, известно о предельной плотности материи некоторых планет, кубический сантиметр коих весит несколько тонн! Подобной же плотностью обладает поэзия Юрия Кузнецова…

Правда, Передреев все равно постоянно выражал свое неприятие самой направленности этой поэзии. Помню его забавные, но достаточно содержательные реплики во время одного «поэтического» застолья. Справа от него сидел входивший с 1963 года в наш тесный круг Владимир Соколов, а слева находился почему-то пустой стул. И Толя словно бы посадил на него Юрия Кузнецова, которого не было среди присутствовавших, да и «не должно» было быть, ибо Соколов после того, как я «открыл» для себя кузнецовскую поэзию, вдруг начал остро, почти по-женски, к нему ревновать.

Итак, как бы утвердив отсутствовавшего Кузнецова на стуле слева от себя, Толя объявил, указав вправо, на Соколова:

- Вот этот пишет стихи, словно паутинку ткет, дабы поймать мух. А этот (жест влево) - все пытается из мухи слона сделать. И только один (указывая на себя) - единственно нормальный – «человеческий» - поэт!..

\* \* \*

В памяти многих не очень близко знавших поэта людей он остался как человек очень «вольного» образа жизни, пресловутый «гуляка праздный». Но ясно помню, как в конце 1961 года мы волею именно гулливого случая оказались на несколько дней в нижегородской гостинице (говоря нижегородская, я не приспособляюсь к нынешнему поветрию обратных переименований, ибо я и тогда называл славные русские города и, конечно, улицы их вековыми именами). И, представьте себе, в любой мало-мальски подходящий час Анатолий Передреев, повинуясь какому-то внутреннему зову, начинал работать над стихами...

Сам Нижний Новгород мы восприняли тогда как некое действительное пограничье российской Европы и Азии. И был безнадежный и — одновременно — обнадеживающий смысл в одной нелепейшей «встрече». Бродя по улицам над Волгой, мы зашли, прошу извинения, в то общественное место, куда, как говорится, и царь пешком ходил. Оно было, прямо скажу, ужасно, особенно потому, что на грязнейшем полу в зловонной луже лежал одетый в когда-то бывшую тулупом хламиду человек. И – прямо-таки мистическое событие – человек этот, увидев Передреева, поднялся, хотя и с трудом, навстречу и заплетающимся языком стал читать стихи — явно свои... Слов почти нельзя было разобрать, но ритм звучал настоящий. Хотелось познакомиться с этим нижегородским поэтом ближе, но...

Вечером того же дня в гостиничном ресторане — деликатно попросив разрешения, — к нам подсел со своими бутылками мужчина средних лет, представившийся: «Бухгалтер Васюгин из Арзамаса» — и тут же начал совершенно замечательный рассказ о том, как он был в германском плену, как в мае 1945-го один пожилой немецкий солдат вел колонну из сотен русских пленных на Запад в зону Ю-эс-эй, умоляя, чтобы не разбежались, ибо тогда его расстреляют свои (и русские, жалея старика, на разбегались), как потом, после «выдачи союзников», долго «проверяли» Васюгина и его спутников в «родном» лагере и т.д. Рассказчик словно хотел внедрить в поэтическое сознание Передреева переполнявший его душу трагикомическийсмысл.

И до сих пор не могу понять, как угадывали, что перед ними — поэт, эти запечатлевшиеся навсегда в моей памяти диковинные, но доподлинно русские люди...

У меня сохранилось от того бесшабашного нижегородского вояжа начатое, но так и не законченное стихотворение Анатолия:

*За бором бор,*

*За бором бор*

*Стволы поскрипывают сонно…*

*И вдруг осекся взор – забор!*

*«Не подходишь!» - кричит мне зона.*

*Загородив, сломав простор*

*Так неуместно, так нелепо*

*Стоит забор, большой забор,*

*Забор, построенный до неба.*

*Угрюма власть колючих пут,*

*Держава проволоки ржавой,*

*А облака плывут… плывут*

*Так осязаемо, шершаво.*

*Но в вышине блестит затвор,*

*Следит вороньим глазом дуло,*

*Чтоб за забором про забор*

*Никто особенно не думал.*

*Но вот забор открыл ворота,*

*Как медленный зевотный рот.*

*Он выпускает на работу*

*Небритый лагерный народ…*

Поэт, полагаю, не стал завершать стихотворение из-за известной печати «формализма» — игры со словами «бор», «забор» и др., явно противоречившей драматическому смыслу (увлечение модными тогда и позже звуковыми эффектами коснулось на какое-то время и Анатолия Передреева, но он очень быстро преодолел эту болезнь роста).

\* \* \*

Как уже сказано, поэт стремился «завоевать» Москву, что было естественным молодым порывом. И на уровне наиболее серьезных тогдашних ценителей поэзии, он к середине 1960-х годов (в 1964 году вышла в свет его первая книжка «Судьба») это совершил. Вокруг него создался даже своего рода «культ» - но культ, который никому не наносил вреда, кроме самого Анатолия Передреева... И отнюдь не в том смысле, что поэт зазнался, им овладела гордыня и т.п. Он, конечно; знал себе цену, но цель, к которой он теперь, после признания, стремился, была в его глазах гораздо выше и значительнее всего, что он написал.

И, как мне представляется, произошел опасный разрыв: уже явное и несомненное, нередко восторженное признание со стороны едва ли ни всех людей, с мнением которых Анатолий Передреев считался, привело к тому, что ему как бы не нужно было «утверждать» себя в литературе и вообще в «посюстороннем», земном мире; Но в своем горнем творческом мире поэт ставил перед собой недосягаемую цель.

Он хотел бы творить так же п е р в о р о д н о, как Лермонтов, Фет или сам Пушкин, но во второй половине ХХ века это было заведомо неосуществимым стремлением. Он взывал ко мне в 1965 году:

*Настрой же струны на своей гитаре,*

*Настрой же струны на старинный лад,*

*В котором все в цветенье и разгаре –*

*«Сияла ночь, луной был полон сад».*

- и фетовская строка являла собой не поэтическое, но словно бы вполне р е а л ь н о е окно, настежь открытое в совершенно реальную и до боли прекрасную ночь. Но таково вообще соотношение прошлого и нашего века…

Вспоминается сцена, в которой, так сказать, весьма своеобразно, но поистине осязаемо выразилось то, о чем идет речь. Как-то – это было в конце 1960-х годов – у меня летним вечером засиделись – конечно, не без батареи таких общедоступных в то время «емкостей» - Анатолий Передреев и Андрей Битов. Уже близился рассвет, когда атмосфера (что было характерно для подобных посиделок) накалилась, и Битов – человек очень, даже, пожалуй, чрезмерно умный и потому особенно умеющий «ужалить» — бросил:

— Ты, Анатолий, все п о н и м а е ш ь, ну прямо-таки все-все, а вот сказать не можешь: смотри, у тебя от этого даже, жила на шее напрягается…

Передреев не остался в долгу:

А в твоей прозе, Андрей, ни одной настоящей ж и в о й фразы нет – ну, такой вот хотя бы: «Я ехал на перекладных из Тифлиса…» Ни одной!

Через пару минут мне пришлось уже разнимать спорщиков руками, на которых в результате появились кровоточащие ссадины...

Лишь на рассвете спорщиков «развел по углам» специально привезенный для того из гостиницы «Украина» авторитетный посредник. Это был казавшийся тогда гораздо более старшим и безоговорочно уважаемый обоими — в качестве как бы литературного отца — Виктор Астафьев; впрочем, мне сегодня не хочется говорить о нем…

В описанной вроде бы чисто бранной полемике содержался самый глубокий смысл. Анатолий Передреев действительно хотел говорить в стихах столь же первородно, как говорил и в стихах, и в прозе Лермонтов (первую фразу романа которого он напомнил); однако **говорить так в XX веке невозможно... Ни в стихах, ни в прозе.**

Битов это, конечно же, понимал, и потому его «обвинение» было точным, но в то же время явно несправедливым. Ибо тот факт, что Анатолий Передреев м у ч и т е л ь н о переживал невозможность говорить так, как это делали классиче­ские поэты России, свидетельствовал вовсе не о какой-то его «ущербности», но, напротив, о его несомненном п р е в о с х о д с т в е надсовременниками. И в его нежелании смириться с этой «невозможностью» я вижу истинный глубинный смысл его жизненной и творческой драмы, роковое — и подлинно высокое –противоречие его судьбы.

За последние полтора десятилетия жизни Анатолий Передреев написал немного (хотя замыслы были). Но высочайшее устремленье воплощено в его лучших стихотворениях и в душах читателей, которые дослышат эту запредельную ноту, она будет звучать всегда…

В наши дни эту ноту всем существом воспринял замечательный певец, вернее п е с н е т в о р е ц, Александр Васин. Дав достойное п е с е н н о е б ы т и е десятку стихотворений Анатолия Передреева, он осязаемо раскрыл в них то, что ранее только предчувствовалось, предугадывалось. И не менее важно другое. В пении Александра Васина неоспоримо обнаруживается, что созданные тридцать и более лет назад – в совершенно иную, казалось бы, эпоху – стихотворения поэта ни в коей мере не устарели; напротив, они словно бы развивались вместе со страной и звучат сегодня всецело «современно», как только что созданные. Уверен, что так будет и в следующие эпохи.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

«ПРОЩАЙ, МОЙ БЕЗНАДЕЖНЫЙ ДРУГ...»

В конце 1959 года из Тайшета, где я работал в районной газете «Сталинский путь», я поехал на несколько дней поглядеть Братскую ГЭС. Я вообще мечтал после университета работать в Братске, быть очевидцем стройки века, но меня направили в Тайшет... Хоть и рядом, но все-таки за семьсот километров. И вот наконец-то я в Братске. Я с восторгом бродил по котловану Братского моря, утонувшего в клубах морозного пара, забредал в рабочие дощатые столовки, хлебал горячие щи, засиживался в рабочих общежитиях, поднимался на выветренный гранитный утес под названием Пурсей и вглядывался с высоты в громадное чрево котлована, наполненное маревом, туманными огнями, урчанием железа и маленькими игрушечными фигурками людей, бормотал какие-то строчки, записывая их в блокнот замерзшими, негнущимися пальцами...

Вечером одного из сумеречных декабрьских дней в коридорах многотиражки «Огни Ангары» я встретился со стройным, породистым парнем, ходившим, несмотря на морозы, нараспашку и без шапки, укрываясь есенинской копной светлых волос. Это был Анатолий Передреев, бок о бок с которым протекли последующие чуть ли не тридцать лет моей жизни. Много лет позже, я так вспомнил нашу первую встречу в Братске:

*Я помню деревянный дом,*

*где папиросный дым столбом,*

*за окнами собачий холод.*

*Вморожен в небо лунный круг,*

*но молод мой высокий друг,*

*и я самозабвенно молод.*

*Нет, нам еще не вышел срок,*

 *нас водка не сбивает с ног,*

 *а только силы прибавляет.*

 *Мы загуляли до утра,*

 *нам дела нет, что Ангара*

 *величественно прибывает.*

Сколько за эти годы у нас было душевных разговоров, размолвок, споров, восторгов — не припомнишь, — и все вокруг самого главного, чему в те романтические времена мы уже посвятили свои судьбы, — вокруг русской поэзии... Что она такое? Что значит быть русским поэтом? Что есть правда в поэзии?.. Как совместить поэзию и личную судьбу? На эти вопросы никто не мог ответить нам, кроме нас самих...

Передреев был одним из нынешних поэтов моего поколения, кто каким-то чутьем ощущал, что есть правда и что есть неправда в стихотворении... Слух на правду (эстетическую, этическую, духовную — любую) у него был абсолютный, и поэтому я свои новые стихи читал ему первому, начиная с 1959-го и кончая 1986 годом, когда летом я приехал к нему в его новую квартиру на Хорошевском шоссе, чтобы прочитать написанную мной в тяжелейшем душевном состоянии поэму «Русские сны»... Я верил ему больше, чем себе, когда нам было по двадцать пять лет, и продолжал верить, когда нам стало по пятьдесят пять... А через год с лишним мне пришлось сказать последнее слово над могилой...

Вскоре после моего знакомства с ним на берегу Ангары мы встретились и обнялись в Москве в журнале «Знамя», на Тверском бульваре, куда меня взяли работать заведующим отделом поэзии. Анатолий же в эти дни поступал в Литературный институт, находившийся рядом с журналом. Наша журнальная комната, где кроме меня сидели два сотрудника отдела критики Самуил Дмитриев и Лев Аннинский была настоящим литературным клубом. Здесь засиживались за чаем, а то за кое-чем покрепче — Владимир Соколов, Игорь Шкляревский, Юз Алешковский, Вадим Кожинов, Дмитрий Стариков, Василий Белов, Николай Рубцов. Иногда, спускаясь со второго — начальственного — этажа, к нам заглядывали ветераны советской литературы, остроумцы, краснобаи 20—30-х годов. Виктор Шкловский открывал рот, и мы часами, как заведенные, вспоминали о Маяковском, о том как по его приказу в моторы бронеавтомобилей, должных защищать временное правительство, подсыпали песку и это в немалой степени способствовало победе советской власти...

Виктор Ардов — седовласый красивый старик, заходил в нашу комнату, оглядывал свысока Мулю Дмитриева, Леву Аннинского, меня и остановил взор на мне — незнакомом ему сотруднике журнала, однажды грозно вопросил: «А вы, милейший, не полужидок?» Ошарашенный этим вопросом, я ответил Ардову: «Ну что Вы, я русский и по отцу и по матери!» Но Ардов продолжал смотреть на меня с подозрением: как это сотрудник без примеси еврейской крови может работать в таком престижном журнале «Знамя»?! Вот отделом критики заведует «полужидок» Самуил Александрович Дмитриев, сын известной всей Москве Цили Дмитриевой, его помощник Лева Аннинский тоже полукровка, через коридор в отделе публистики сидят Александр Кривицкий, Миша Рощин (Гибельман) и Нина Кодонер — это все наши! Секретарь редакции — Фаня Левина, зам. гл. редактора Людмила Ивановна Скорина, вроде бы украинка, но муж у нее Моисей Важдаев... О самом Кожевникове говорить не будем, он из Сибири. А первый его заместитель Сучков Борис Леонтьевич, русский, но отсидевший восемь лет в одиночке, он — тише воды и ниже травы...

Вот что было написано на челе Виктора Ардова, как бы проверявшего — а кто нынче работает в журнале «Знамя»? Кстати, туда я попал в известной степени случайно. По возвращении из Сибири я несколько месяцев работал в журнале «Смена», которым руководил будущий знаменитый главный редактор «Молодой гвардии» Анатолий Васильевич Никонов... Его жена писательница-фронтовичка Ольга Кожухова заведовала отделом поэзии журнала «Знамя». Когда она подумала летом 1960 года уходить оттуда, то Никонов посоветовал ей взять на работу меня, так как я жил стихами и очеркистом в журнале «Смена» был никудышным...

А в грозном вопросе Виктора Ардова «Вы не полужидок»? — естественно, никакого антисемитизма не было, наоборот; видимо, ощущая себя человеком чистой крови и высшей расы, он с удовольствием демонстрировал свою дарованную свыше левитскую власть, всяческим получистым» — Муле Дмитриеву, Льву Анинскому и прочим «сухим» и «полусухим» ветвям еврейского родословного древа... Но со мной, от свойственного такого склада людям пошлой гордыни и высокомерия у него произошла ошибочка...

Как бы то ни было, в 1961—1963 годах, за моим столом и на диване, что стоял в дальней половине нашей журнальной комнаты, сложился некий небольшой, но очень любопытный духовный центр того, что позже стало называться русской партией. Такие очаги были во многих уголках Москвы: при обществе охраны памятников действовал так называемый русский клуб, где витийствовали Петр Палиевский, Дмитрий Жуков, Олег Михайлов, Сергей Семанов; при журнале «Октябрь» полукровка Дмитрий Стариков и еврей Юра Идашкин успешно представляли русские интересы — недаром «Октябрь» был первым журналом, где в 1964 году была опубликована первая в Москве подборка стихотворений Николая Рубцова; в журнале «Молодая гвардия» под крылом Никоновавозрастали Владимир Цыбин и Виктор Чалмаев, Владимир Фирсов и Анатолий Поперечный...

Но нас не устраивал «молодогвардейский» или «октябрьский» кружки, поскольку и тот и другой находились под мощным присмотром государственной денационализированной идеологии — «Октябрь» опекался цековскими чиновниками, а «Молодая гвардия» — комсомольской верхушкой, нам же хотелось жить в атмосфере чистого русского воздуха, полного свободы, и некоего лицейского царскосельского патриотического и поэтического содружества...

И вот тут-то явление Передреева и его поэзия пришлись всем нам как нельзя более кстати. Полная независимость и какая-то изначальная самостоятельность и естественность и его поэзии, и его жизненного поведения сразу же очаровали всех нас. В
годы, когда вскипали споры эстрадных поэтов, когда в борьбе за монопольную любовь к родине-государству сходились на съездах и пленумах Евгений Евтушенко и Владимир Фирсов, вдруг зазвучал какой-то абсолютно естественный голос Анатолия Передреева, чурающийся любого публицистического разгильдяйства, любого политического подтекста, голос, стремящийся к одной цели — выразить простую русскую судьбу и русскую душу.

Я помню, как он читал нам на знаменском диванчике одно из самых заветных своих стихотворений тех лет:

МАТЬ

*Уляжется, ночь у порога,*

*Уставится в окна луна,*

*И вот перед образом Бога*

*Она остается одна.*

*Туманный квадратик иконы,*

*Бумажного венчика тлен.*

*И долго роняет поклоны*

*Она, не вставая с колен.*

*И пламя лампады полышет,*

*Колеблет листочек огня*

*Ночной ее вздох* —

*не услышит*

*Никто его, кроме меня!*

*Лишь сердце мое шевельнется,*

*Сожмется во мраке больней...*

*Никто никогда не вернется*

*С кровавых и мертвых полей!*

*Не будет великого чуда,*

*Никто не услышит молитв...*

*Но сплю я спокойно, покуда*

*Она надо мною стоит.*

(1961 г.)

Семья Анатолия Передреева, спасаясь от голода начала 30-х годов, сбежала из Поволжской деревни Новый Сокур на юг, где можно было прокормиться, в город Грозный.

*Не лови меня на слове...*

*Не о том рассказ...*

*По рожденью и по крови*

*Я не твой,*

*Кавказ!*

*Я из той земли огромной,*

*Где такой простор,*

*Что легко затерян дом мой,*

*Позабыт мой двор.*

*Где во славу бури только*

*С вековых берез*

*Посшибало ветром столько,*

*Разметало гнезд.*

У Передреева была большая семья — пятеро братьев и сестра. Три брата, за которых мать молилась по ночам, погибли на Отечественной войне. Четвертый вернулся без ног и работал в Грозном сапожником. После того, как в 1960 году Анатолий написал «Балладу о безногом сапожнике», которую напечатала «Лит. газета», Борис Слуцкий, опекавший в те годы всех нас, показал эти стихи Николаю Асееву. Тому стихотворение настолько понравилось, что он, решивший будто бы Передреев стихи написал о самом себе, после ухода Слуцкого позвонил в приемную Ворошилова и добился того, чтобы талантливому сапожнику-поэту за счет государства были изготовлены какие-то необыкновенные протезы. Вот какие были времена.

Анатолий Передреев до своего появления в Москве успел отслужить в армии, поработать в плавильном цехе и за баранкой самосвала, на Саратовском заводе, изготовлявшем гвозди, и стихи написал естественные, предельно правдивые обо всех этапах своей трудовой жизни, но в этих стихах где-то между строк чувствовалось, что не для этой биографической правды он пришел в мир, а для чего-то большего, что на первых порах еще неясно было ему самому.

Помню, как в 1962 году, после первых своих летних каникул, вернувшись из Грозного, он разыскал меня в «Знамени» и утащил в Дом литераторов, чтобы не теряя ни одного дня, прочитать мне новые стихи. Пестрый зал ресторана был полупустой, мы уединились в углу, слава Богу, никто нам не мешал, и я слушал с наслаждением, как мой любимый друг, под обаянием которого я жил в те времена, читает мне, первому:

*Заболев по родимым краям,*

*Из далеких вернусь путешествий,*

*Тишина... и струится заря,*

*И петух голосит на насесте.*

*Ничего не обещано мне,*

*Ничего не завещано здесь мне,*

*Никакое наследство не ждет,*

*Не вручается сызнова детство.*

Простенькие рифмы, как бы спрятанные внутри строфы, придавали стихотворению дополнительную естественную изысканность и привели меня в восхищение!

*Просто пахнет, как прежде земля,*

*И высокий скворечник на месте...*

*И встает надо мною заря,*

*И петух голосит на насесте!*

Стихи развивались, как сама жизнь, обнаруживая какое-то ее скрытое величие, ее обыденную святость; это была поистине новая, еще никем так последовательно не осуществленная интонация в русской поэзии 60-х годов.

*Возвращаюсь к простым вещам,*

*К свету милому*

*В малом окошке,*

*Приобщаюсь к дымящимся щам,*

*Приручаюсь к домашней ложке!*

*Задеваю стол и кровать,*

*Как слепой, прикасаюсь тихо...*

*И гляжу на закате*

*на мать —*

*Мать сидит на скамейке тихо...*

*Я не видел ее никогда!*

Восклицал он: «Не видел», то есть не понимал поистине рембрандтовской правды и красоты этих родных русских лиц, внезапно открывшихся ему.

*Я склоняюсь к моей старухе, —*

*Что глядит она так?*

*И куда?*

*Отчего так сложены руки?*

С этих, поразивших его чувство и сознание картин и началась подлинная поэтическая судьба Анатолия Передреева. Свой путь к родине он искал в стороне как от спекулятивно-эстрадной, евтушенковской, так и от сусально-патриотической колеи.

*Обниму тебя, березка,*

*Слышишь мой привет?*

*Я пришел не за разверсткой*

*Ходовых примет.*

*Кто с отзывчивым талантом*

*Мчит на твой простор*

*Так, как будто эмигрантом*

*Был он до сих пор.*

*Много их, своих привычных,*

*Тяжких, как недуг.*

*Заповедных и столичных*

*браконьеров душ.*

А еще его выделяли изо всех нас, какая-то монашеская, почти религиозная любовь к поэзии, жесточайшая требовательность не только к себе, не только к нам, грешным, но и к своим кумирам — Лермонтову, Есенину, Блоку. Мы подшучивали над Есениным и Блоком, как над людьми своего круга... Я читаю вслух одно из своих любимых стихотворений Сергея Есенина «Каждый труд благослови удача», дохожу до строчек:

*Хорошо лежать в траве зеленой*

*и, впиваясь в призрачную гладь,*

*чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный,*

*на себе, усталом, вспоминать.*

Передреев не упускает случая свысока заметить: «На себе усталом, лежит на берегу, а сам вспоминает, как на него глядела какая-то женщина. Это — женщина должна вспоминать, как на нее Есенин глядел! Тоже мне нарцисс!»

Читает нам Николай Рубцов свою знаменитую ныне прощальную песню:

*Мы с тобой, как разные птицы,*

*что нам ждать на одном берегу,*

*может быть, я спешу воротиться,*

*может, быть, никуда не спешу.*

Передреев тут, как тут:

— Ты, Коля, все-таки перед тем, как писать, реши: возвратишься ты или нет, не кокетничай.

А сам Передреев — высокий, статный, обладавший какой-то магнетической силой, в полную меру пользовался своим обаянием. Никто лучше его не мог в совершенно безнадежной очереди за вином улыбнуться всем страждущим и, уловив на их лицах ответные улыбки, а то и услышав: «Ну ладно, студент, бери, мы не против!» — протянуть через головы продавщице скромную купюру и принять в ладонь заветную бутылку. Помню, как Смеляков, однажды в каком-то случайном застолье залюбовался на Передреева и сказал не о стихах, а о чем-то другом, не менее важном:

— Я ставлю на твою стать!

А Яшин Александр, человек желчный и строгий, попавший как-то под обаяние Передреева, в избытке нежных чувств при мне подарил ему со своей руки какие-то дорогие часы, чуть ли не золотые.

Жили мы в те годы весело, рискованно, неосторожно. Но все сходило нам с рук. О том времени сейчас много лгут — о повальной слежке, о неизбежных наказаниях за знакомства с иностранцами, за любое вольномыслие. Недавно в передаче «Старая квартира», у Гурвича, некий «интеллектуал» — и в прошлом, что можно было понять из его воспоминаний о своей судьбе, обычный фарцовщик рассказал, будто бы его исключили из института за то, что он в начале 60-х годов взял автограф у иностранца... Но я помню, как в это же время наша компания познакомилась с американским филологом, который стажировался у нас в МГУ. Звали его Мартин Малиа. Мы все — Передреев, Рубцов, Кожинов, я, Дима Стариков — ему понравились, он был человеком при деньгах, и несколько месяцев мы дружно пропивали их то в Доме литераторов, то в Кафе «Марс» на Тверской, то на моей или кожиновской квартире, то в общаге Литинститута. Говорили обо всем — о поэзии, о политике, о деле Пастернака, о Есенине, о Хрущеве, о XX съезде... Наверняка органам Госбезопасности все это было известно, но мы, ощущая себя русскими патриотами и государственниками, ничего не скрывали и не боялись ничего. Мартин Малиа снабжал нас литературой — книгами Бердяева, Библией, четырхтомником Пастернака вместе с «Доктором Живаго». Мы даже подозревали, что он цэрэушник (что потом подтвердилось), но и это не смущало нас: «Мы, поэты, люди свободные и родину свою никогда не продадим, а уже встречаться будем с кем нам угодно!» — так мы думали и чувствовали в то время. И никто не откуда нас не исключал, никто никуда не вызывал, разве что меня вычеркнули из списков на какую-то туристическую поездку в Африку. Может быть, в связи с цэрэушником Малиа, а может быть, по другим причинам. Я ничуть не огорчился и ничего не стал выяснять. Мы были выше мелочей такого рода.

Передреев вносил в нашу жизнь дуновение полной свободы поведения и независимости в суждениях обо всем. Он очень не любил, когда в его присутствии кто-нибудь спекулировал политическими понятиями, разговором о правах человека, о репрессиях, о гонениях... К фальши такого рода он был беспощаден. Помнится, как за наш столик однажды подсел человек, видимо, желавший выпить, но решивший сначала вызвать сочувствие к себе. Он начал было с аффектом рассказывать о своих страданиях в сталинских лагерях, но Передреев сразу же перебил его:

— А за что посадили-то? — И не дав пришельцу открыть рта, с жестокостью человека, не выносившего притворства и расчетливой фамильярности, вдруг неожиданно продолжил: — Небось украл чего-нибудь!

Незнакомца из-за нашего стола как ветром сдуло.

Друзья, женщины, издатели — каждый по-своему в первые годы, пока Передреев был молод, обаятелен, красив, опекали его, спасали от безденежья, вызволяли из бытовых и скандальных неурядиц, подыскивали жилье, похмеляли, выручали едой и ночлегом. Он легко и явственно с каким-то врожденным тактом мог быть в центре внимания в салоне Лили Брик и в общаге Литинститута, в квартире у Ермилова и в кабинете секретаря московского обкома Гоголева (который только за обаяние дал ему жилье в Электростали), в гостях у Бориса Слуцкого и в милицейском участке, куда мы с ним однажды попали после скандальной драки с иллюзионистом Игорем Кио и его помощником, нахамившими нам, как это показалось Передрееву в ресторане Центрального Дома литераторов. Но
порой благодаря этому стилю жизни мы попадали и в курьезные обстоятельства.

...Однажды мы с Передреевым вошли в коридор громадной московской коммунальной квартиры. На стенах коридора висели пожелтевшие оцинкованные ванны, под ними стояли какие-то старые сундуки, из общей кухни тянуло запахом жареной рыбы.

В комнате, застланной тяжелой мебелью, за столом у «неумытого окна» сидела грузная седоволосая женщина. Она пригласила нас присесть в кресла со стонущими пружинами и стала читать верстку с набором своих стихотворений — одно из них чрезвычайно нравилось мне:

*Ворон криком прославил*

*Этот призрачный мир,*

*И на розвальнях правил*

*Великан кирасир!*

Когда мой друг узнал, что я еду к Ахматовой, чтобы она подписала верстку стихотворений, которые должны были появиться в журнале, где я служил, он упросил меня взять его с собой.

Ахматова медленно просмотрела набор, расписалась по моей просьбе под стихами и поглядела на нас, давая нам понять, что аудиенция закончена. Я уже приподнялся с кресла, застонавшего всеми своими пружинами, и хотел сказать «до свидания», как мой молчаливый друг, по-моему все время дремавший в углу, вдруг, к моему ужасу, произнес с обезоруживающей непосредственностью:

— Анна Андреевна! Я ни разу не слышал, как вы стихи читаете... Прочитайте нам что-нибудь свое любимое...

Величественная старуха взметнула брови, словно бы вглядываясь в представителя «младого и незнакомого племени», но вместо того чтобы указать нам на дверь, со странной улыбкой тяжело поднялась со стула, подошла к маленькому столику, стоявшему в углу, открыла крышку дешевого проигрывателя, поставила на диск пластинку и нажала кнопку. Пластинка зашипела, и в комнате, загроможденной пыльной и облезлой мебелью, вдруг зазвучала медленная, торжественная речь:

*Мне голос был. Он звал утешно.*

*Он говорил: «Иди сюда,*

*Оставь свой край, глухой и грешный,*

*Оставь Россию навсегда».*

*…………………..*

*Но равнодушно и спокойно*

*Руками я замкнула слух,*

*Чтоб этой речью недостойной*

*Не осквернялся скорбный дух.*

Когда диск остановился, Ахматова сняла пластинку и снова с молчаливым вопросом поглядела на нас...

Мы, толкаясь и бормоча слова благодарности, вывалились в коридор, а потом по лестнице, пропахшей кошками, в шумную жизнь Садового кольца...

Я с негодованием набросился на Анатолия:

— Ну что — получил? Послушал «что-нибудь любимое?» Но ему все было как с гуся вода:

— Зато смотри, как интересно получилось! Когда-нибудь вспомним!

Вот и вспомнилось...

Я сам, видя передреевскую беспечность и безалаберность, счел своим радостным долгом в то время собрать все его стихи, составить из них книгу, перепечатать, и отнести ее в издательство «Советский писатель» — на другую сторону Тверского бульвара. Я вручил рукопись Егору Исаеву и убедил его издать первую книгу моего друга как можно скорее. В 1964 году (через год с небольшим!) мы уже обмывали «Судьбу» в шашлычной «Эльбрус», помнится, что вместе с нами в тот вечер был и Владимир Соколов, и Вадим Кожинов...

К Соколову Передреев относился в первые годы своей жизни в Москве с почтением и даже любовью. Да и было за что. Именно тогда, находясь в «нашей ауре». Соколов написал несколько лучших своих стихотворений, за которые мы тут **же** приняли его в пантеон русской классики.

Помню, как Передреев пришел в «Знамя» с «Литературной газетой» и с горящими от восхищения глазами прочел вслух стихи Соколова:

*Звезда полей, звезда полей над отчим домом*

*и матери моей печальная рука.*

*Осколок песни той вчера за Тихим Доном*

*из чуждых уст меня настиг издалека.*

*…*

*Подруга, мать, земля, ты тленью не подвластна,*

*нам не нужны слова, вскормила, так прости,*

*нам не нужны слова, когда настолько ясно,*

*все, что друг другу мы должны произнести.*

Мы с молодой щедростью упивались свободой и душевной распахнутостью этого стихотворения, а позже много раз Передреев вспоминал и другие строки Соколова, жившие в его душе всегда:

*Я все тебе отдал: и тело*

*и душу до крайнего дня.*

*Послушай, куда же ты дела?*

*Куда же ты дела меня?*

*На узкие листы рябины,*

*шумя, налетает закат,*

*и тучи на нас, как руины*

*воздушного замка летят.*

Особенно приводили его в восторг «узкие листья рябины», «закат», который «налетает, шумя» — и самое главное то, что мы тогда называли «лирическим жестом» — некое властное продолжение жизни в стихах, почти всегда неожиданное и потому неотразимое: «Послушай, куда же ты дела, куда же ты дела меня?»...

В разгар нашей общей дружбы, на ее гребне, году в 1966 — 1967, Передреев посвятил Соколову одно из лучших своих, я бы сказал программных, стихотворений:

*В атмосфере знакомого круга*

*Где шумя об успехе своем,*

*Мы случайно заметим друг друга,*

*Не случайно сойдемся вдвоем.*

*В суматохе имен и фамилий,*

*Мы посмотрим друг другу в глаза...*

*Хорошо, что в сегодняшнем мире*

*Среднерусская есть полоса.*

*Хорошо, удивительно, славно,*

*Что тебе вспоминается тут,*

*Как цветут лопухи в Лихославле,*

*Как деревья спокойно растут.*

*Не напрасно мы ищем союза,*

*Не напрасно проходят года…*

*Пусть же девочка русая — муза*

*не изменит тебе никогда.*

*Да шумят тебе листья и травы,*

*Да хранят тебя Пушкин и Блок,*

*И не надо другой тебе славы,*

*Ты и с этой не столь одинок.*

А Владимир Соколов, который так же, как и я чувствовал, что Передреев нужен всем нам, посвятил ему в ответ одно из лучших своих стихотворений:

*Слушай, Толя, прочти мне скорее стихи*

*О твоем возвращенье в родительский дом.*

У *меня в Лихославле цветут лопухи,*

*Там, где жил я, не зная, что будет потом.*

*Слушай, Толя, прочти мне скорее стихи*

*О твоем возвращенье в родительский кров,*

*У меня в Лихославле цветут петухи*

*И вздымаются нежные очи коров.*

*Я вернусь, я вернусь, я подкину сенца,*

*Я под осень за хлеб выпью ковш до конца*

*За платок до бровей, за ослепшую высь,*

*За твою, соловей, сумасшедшую жизнь.*

И еще в память врезалась сцена, когда в Нижнем буфете Дома литераторов, в полутемном углу, мы вчетвером уединились за столиком, и Соколов читал нам (мне, Передрееву и Кожинову) одно из самых трагических и пророческих своих стихотворений:

*Ничего от той жизни,*

*что бессмертной была,*

*не осталось в отчизне,*

*все сгорело дотла.*

*Все в снегу, точно в пепле,*

*толпы зимних пальто,*

*как исчезли мы в пепле*

*и не видел никто.*

Мы с Передреевым восхищались свободой и отвагой стихотворения, заставили Соколова прочитать его еще и еще раз, подымали тосты за его талант, но если и пьянели, то от избытка чувств и гордости за русскую поэзию.

И однако, любя Соколова-поэта, умный и проницательный Передреев видел всю человеческую слабость его натуры, предчувствовал, что Соколов, прислонившийся к нам от одиночества (в то время выбросилась из окна его жена Буба, отдалился от Соколова делающий карьеру, его институтский друг Евгений Евтушенко), рано или поздно отшатнется от нас, что через несколько лет и произошло, и все чаще и чаще в разговорах о Соколове из уст Передреева хотя и снисходительно и добродушно, но звучало слово «предатель». Я убедился в правоте Передреева много позже, когда, став редактором «Нашего современника», предложил Володе печататься у нас, и в ответ услышал нечто вроде того что, как можно у Вас печататься, рядом с экстремистами и черносотенцами.

- Это с кем же?

- С Шафаревичем, с Беловым, с Кожиновым...

Я был поражен: ну Шафаревич и Белов ладно, но Вадим, с которым несколько лет подряд Соколов был, как говорится, «не разлей вода», гитара, голос и романсы которого были частью нашей жизни, Вадим, кому в самые тяжелые часы жизни Соколов звонил и «в ночь полночь» тот приезжал к нему, спасал от одиночества, хандры и отчаяния... А как Вадим исполнял романсы на слова Соколова — «милая, Бог с тобой», «сигареты сиреневый пепел»... Это стихотворение было посвящено Кожинову, да и сам Вадим был героем стихотворения.

У *сигареты сиреневый пепел.*

*С другом я пил, а как будто и не пил,*

*Пил я Девятого Мая с Вадимом,*

*неосторожным и необходимым.*

*Дима сказал, почитай-ка мне стансы,*

*а я спою золотые романсы,*

*Ведь отстояли Россию и мы,*

*наши заботы и наши умы.*

То, что Соколов, по словам Передреева, «предатель», подтвердилось еще раз, когда в разгаре перестройки, году в 92-м, он выступая по телевидению, читал стихотворение «У сигареты сиреневый пепел», умолчав о том, кому посвящено стихотворение и даже выбросив из него строфу, где речь шла о «друге» и «брате» Вадиме... Более того, вместо строки «Дима сказал, почитай-ка мне стансы» — Соколов прочитал: «Кто-то сказал»... От презрения к бывшему нашему товарищу я встал и выключил телевизор.

Вскоре Соколов получил из рук новой власти президентскую Пушкинскую премию, но поэтическая жизнь уже была прожита и ничего значительного из-под его пера в демократическую эпоху не появилось. А ведь в наше время он был другим человеком…

Как-то я увидел по телевизору сидящих рядом его и ельцинского министра культуры Сидорова. Министр говорил поэту какие-то льстивые слова, Соколов с довольной улыбкой принял их, одобрительно поглядывая на министра. Но я вспомнил, как этот посредственный конформистский критик 60-70-х годов, от писаний которого не осталось не то чтобы строчки, но даже буквы, однажды сидел в Доме литераторов за одним столиком со мной и Соколовым. Он только что женился на дочери главного редактора «Вечерней Москвы» Семена Индурского и, породнившись с еврейскими кругами, начинал делать карьеру. Мы разговаривали с Володей, естественно, о поэзии, а Сидоров, в паузах, время от времени вставлял то словечко, то фразу — и все как-то не к месту, тупо, невпопад... Соколову это надоело, и он с удивительным выражением лица обратился к Сидорову: «А Вы, Евгений Абрамович...» — Сидоров вежливо поправил его: «Евгений Юрьевич!» — Через минуту Володя опять повторился: «А Вы, Евгений Абрамович!..» — «Володя, я же Евгений Юрьевич!», — собидой взвизгнул Сидоров. Но когда Соколов еще через минуту с ядовитой, только ему свойственной интонацией в третий раз ошибся и снова назвал его «Евгений Абрамович», щеки и будущего министра покрылись красными пятнами, и он выскочил из-за стола. А в годы перестройки Соколов, как многие, стал другим человеком.

Однако история придумывает самые прихотливые и капризные варианты возмездия за измену самому себе.

В середине 60-х годов, когда Соколов, после страшной гибели жены, остался с матерью и двумя детьми, раздавленный горем и своей вольной или невольной виной, он, я думаю, чтобы совсем не пропасть, не выпасть из жизни, не спиться окончательно, поступил на службу — секретарем так называемой секции поэтов при Московской писательской организации. А командовал им в это время Виктор Николаевич Ильин, бывший комиссар Госбезопасности, отсидевший, как «человек Берии», несколько лет в одиночной камере, аппаратчик умный, но сталинского идеологического закала... И тогда-то закадычный друг Соколова Евтушенко, всегда способный ради красного словца не пожалеть ни мать ни отца, заклеймил своего несчастного друга жестоким словом:

*Талант на службе у невежды,*

*привык ты молча слушать ложь,*

*ты раньше подавал надежды,*

*теперь одежды подаешь.*

Думаю, что эти строки были дополнительной солью на тогдашние душевные раны Соколова...

А когда он умер, то, естественно, что главным распорядителем и душеприказчиком на похоронах был Евгений Евтушенко.

Но время движется, «молодость уходит из-под ног», обаяние изнашивается, присяга совершенству становится невыносимой, друзья устают и стареют, похмелье начинает длиться не часами, а неделями, вдохновение приходит все реже и реже... Но все-таки иногда приходит.

ЛЕБЕДЬ У ДОРОГИ

*Рядом с дымной полосою*

*Воспаленного шоссе*

*Лебедь летом и весною*

*Проплывает, как во сне.*

*Целый день звенят колеса,*

*Накаляясь от езды,*

*Щебень сыплется с откоса,*

*Доставая до воды.*

*Ничего она не слышит,*

*Что-то думает свое,*

*Жаркий воздух чуть колышет*

*Отражение ее.*

*То ли спит она под кущей*

*Ослепительного сна,*

То ль дорогою ревущей

*Навсегда оглушена.*

*То ль несет в краю блаженства*

*Белоснежное крыло,*

*Во владенья совершенства*

*Не пуская никого.*

Это о себе, о своем замкнутом мире, о попытке жить самодостаточной жизнью, о своем все более нарастающем одиночестве, в мире, который с каждым годом становился для него все более чужим и ненужным. О попытке «никого не пускать» в свои «владенья совершенства», окруженного жарким, тяжелым воздухом жизни, проносящихся машин, ревущей дорогой... Мысль о невозможности вжиться в этот мир становится навязчивой и постоянной, перетекает из одного стихотворения в другое. Он поистине все чаще сам ощущает себя беззащитным существом, вроде «лебедя у дороги».

*В этом городе старом и новом*

*не найти ни начал, ни конца,*

*нелегко поразить его словом,*

*удивить выраженьем лица.*

*В этом городе новом и старом,*

*озабоченном общей судьбой,*

*нелегко потеряться задаром,*

*нелегко оставаться собой.*

*И в потоке его многоликом,*

*в равномерном вращенье колес,*

*в равнодушном движенье великом*

*нелегко удержаться от слез.*

Слезы все чаще и чаще стали появляться на его лице, все чаще и чаще, после песенного исполнения им и мной наших любимых стихов «Девушка пела в церковном хоре» — и «В полдневный жар в долине Дагестана» (а пели мы их на какую-то стихийно сочиненную мелодию), он бессильно заглядывал мне в глаза, просил отчаянным голосом:

— Стась, давай напьемся!

Все чаще и чаще в его стихах появлялись строки о том, что ничего нет у него ни в будущем, ни в настоящем, а только в прошлом:

*Вот она — для сердца и для взора —*

*Тихая земля...*

Неужели вся моя опора —

*Молодость моя.*

И остается незабвенной лишь мать печальная одна;

*В какую я впутался спешку,*

*В какие объятья попал,*

*И как я, под чью-то усмешку,*

*Душою еще не пропал.*

Это, может быть, самое последнее его стихотворение, написанное за год с лишним до смерти.

Все чаще и чаще его застолья в кругу уже совершенно новых людей (Рубцов умер, Соколов предал, Кожинов «завязал») кончались шумно и безобразно... Оставаясь в первые час-другой прежним Передреевым, умным, обаятельным, вежливым, он, перейдя меру, становился вспыльчивым и жестоким, как бы мстя окружающим то ли за поэтическую немоту, которая одолевала его, то ли за так счастливо начавшуюся и так горестно завершающуюся судьбу... «Пошел вон!» — все чаще и чаще слышалось из-за столика, где сидел Передреев, когда он изгонял из своего окружения кого-то из недостойных, по его мнению, понимать и слушать стихи и вообще сидеть рядом с ним и дышать одним воздухом. В конце концов, как правило, к ночи или к утру он оставался один.

Мы встречались все реже и реже не потому, что я разлюбил его, а потому, что моя жизненная цель и его образ жизни никак не совмещались. Да не покажется то, что я сейчас скажу смешным, но с конца шестидесятых годов я окончательно понял, что мое будущее — это борьба за Россию. Надо успеть понять ее, надо насытиться знанием о русской судьбе и русском человеке, надо понять себя, как русского человека, надо освоить всю свою родословную, опереться в будущей борьбе, тяжесть и горечь которой я предчувствовал, на своих предков, на великих поэтов, на друзей и старых, и новых... Я начинал чувствовать себя человеком, которому судьба предназначила именно этот путь, путь долгой жизни и тяжелой борьбы. Поэтому меня стало тяготить упоительно-сладостное, самозабвенное времяпровождение с пением Блока и Лермонтова, с чтением Есенина, а Передреев читал его как никто точно и самозабвенно, бледнея от того, что есенинская судьба в эти мгновения для него сливалась с его судьбой.

*Но озлобленное сердце*

*Никогда не заблудится,*

*Эту голову*

*С шеи сшибить нелегко...*

Он тряс своей еще тяжелой копной волос, напрягал крепкую, еще жилистую шею и, заканчивая монолог Хлопуши, яростно молил мир о помощи, о понимании, о друге-спасителе:

*Проведите,*

*проведите меня к нему,*

*я хочу видеть этого человека.*

Но мне все больше и больше становились нужны не просто друзья поэты, а соратники по борьбе, не пропивающие ума и воли единомышленники, люди слова и долга, готовые к черной работе и к самопожертвованию. Я чувствовал приближение грозных времен, и образ жизни Передреева на их фоне был непозволительной роскошью.

Однажды я сказал ему об этом. Сказал все. О том, что он был моей главной ставкой в мире поэзии, что я жил бок о бок с ним и в известной степени растил его для дела, а не для самоуничтожения, что есть еще время опомниться и начать все сначала. Но разговор был слишком невыносимым для него и закончился какой-то нелепой дракой, разрывом на долгие месяцы, отчуждением.

Помню только, как он с бессильным упреком, подводя итог этому разговору, сказал мне: «Ну как же ты, Стасик, так мог без меня распоряжаться мною!» И в этой его горечи был своя правда, однако и моя правда была не менее значительной. Вскоре после этого я написал стихотворное прощание с ним.

*Прощай, мой безнадежный друг,*

*нам не о чем вести беседу,*

*ты вожжи выпустил из рук,*

*и понесло тебя по свету.*

*В твоих глазах то гнев, то страх,*

*то отблеск истины, то фальши,*

*но каждый, кто себе не враг,*

*скорее от тебя подальше.*

*Спасать тебя — предать себя,*

*я лучше отступлю к порогу,*

*не плакальщик и не судья,*

*я уступлю тебе дорогу.*

*Коль ты не дорог сам себе,*

*так, значит, я тебе не дорог...*

*как желтых листьев в октябре,*

*шумит воспоминаний ворох.*

О времени, когда гудел

*январский лес в ночи морозной,*

*и ты в глухую даль глядел*

*и наслаждался ширью звездной.*

*Храним призваньем и судьбой,*

*в грядущий день глядел без дрожи,*

*и были оба мы с тобой*

*друг друга лучше и моложе.*

Мой тогдашний друг Игорь Шкляревский, прочитавший эти стихи, по легкомыслию почему-то решил, что написаны они о наших с ним отношениях, и сказал об этом при встрече Передрееву. Тот внимательно прочитал стихи, опечалился и ответил Игорю:

— Дурачок, неужели ты не понял, что Стасик со мной навсегда попрощался.

Бессильные драки все чаще происходили в последние годы его жизни. Как-то раз мы сидели у Кожинова, с нами был Андрей Битов, в те годы тянувшийся к нам. Естественно, выпили и, естественно, заспорили о литературе. Передреев к тому времени уже мучился от немоты, Битов это чувствовал и не преминул ужалить его в самое больное место:

 - А у тебя, Передреев, — сказал он, — даже жила на шее напряглась оттого, что ты многое хочешь сказать, да не можешь.

— Дурачок ты! — отпарировал Передреев.

Он тоже знал о бессильно-ревностной жажде Битова написать что-то «классическое».

- У тебя ведь ни одной строчки подобной, ну хотя бы этой: «Ехал я как-то на перекладных из Тифлиса» нет!

И угадал же слабость Битова, его неспособность писать прозу простым и сильным языком!

Взбешенный Битов бросился на Передреева, пытаясь схватить его за шею. Кожинов едва-едва растащил их...

На что-то надо было жить, свои стихи от беспредельной тяги к совершенству, рождались все реже и реже, и Передреев все глубже погружался в переводческую деятельность, стал пропадать в Баку, в Сухуми, в Грозном, где зарабатывал на жизнь для себя и семьи и где медленно, но верно спивался от мысли, что становится строчкогоном-переводчиком, каких тогда было много.

Чтобы не вспоминать об этом много, я приведу несколько отрывков из его писем ко мне. В них — есть все: и его ум, и его вкус, и его одиночество, и его печальная самоирония, и атмосфера той жизни 60-х годов. «Милый, милый... (это реминисценция из Есенина — «милый, милый, смешной дуралей»).

Батум прекрасен, но делать там нечего. Корабли ушли в Константинополь, а полоумный старичина давно околел. Петуха съел, по-моему, Фридан Халваши. (Опять пересказ есенинского «Батума». — Ст. К.). В общем, никакого золотого руна. Упомянутый Халваши вел себя сообразно инструкции Межирова итвоей депеши, однако выражение лица у него было такое, словно он Прометей, а я орел, клюющий его печень. Пару раз я его, конечно, клюнул хорошо.

Грузия с ее мелкопоместными душами и отвратительным самодовлеющим гостеприимством мне не пришлась. Душа моя одинока, как леший.

В Батуме встретил единственного талантливого поэта Ладо Сендишвили, и тот Жамэ-Жамэ и плачет по-французски. Сейчас сижу в Грозном и никуда не хочу, читаю Библию. Паниковскому скажи (так он называл одного из наших друзей. — Ст. К.), что в притчах Соломоновых сказано: «Кто затыкает ухо своё» от вопля неимущего, тот и сам будет вопить, — и не будет услышан».

Тебе же советую: «Прогони кощунника, — и удалится раздор, и прекратится ссора и брань».

(Глава 22, книга притчей).

Аминь.

Напиши что-нибудь, скучаю. Обнимаю.

Толя.

5. IX. 64 г.

А это письмо написано мне из общежития Литинститута во Львов, где я в то время был на воинских сборах.

«Жизнь пустынна, бездомна, бездонна... Несмотря на это, я пью сегодня Мукузани один в своем логове жутком и пишу тебе. Эта бутыль должна быть последней.

Был недавно дома в Грозном, хотел припасть к крыльцу, околице. Но все умерло. Петухи отпевают... Дробышев настиг меня там. Узнал, что я в Грозном, собрал рюкзачок, перешагнул из Грузии через Казбек и — нашел. Что-то он мне не понравился. Суетлив и все больше похож на Паниковского, который никак не может найти себе Остапа Бендера. Впрочем, может, я ошибаюсь, и все это — желчь. Расстался я с ним хорошо. Жалко разрушать последнюю иллюзию бескорыстия и дружбы.

В Грозном мы читали с ним вдвоем твои стихи и нашли, что лучшее, пожалуй: «И прежним смехом рассмеюсь». Пушкинское, Боратынское.

Завтра я иду к врачу, и от анализа мочи будет зависеть вся моя последующая биография.

Обнимаю и целую.

Толя».

(наверное, 1965 г.)

«Здравствуй, Стас!

*Пишут мне, что ты костюм в Ателье*

*сшил себе по дорогой цене*

*и теперь не ходишь в ЦэДээЛе*

*в старомодном, ветхом шушуне!*

И что вообще ты уже не Станислав Куняев вовсе, а Оскар Уайльд до заточения. Помни, что ты мне дорог только в свитере домашней вязки. Как дела? Втолкнул меня с чемоданами в машину и успокоился? А «Солярис» читал? Пришли, подлец, Межелайтиса. Все, что у меня было, я перевел. Прими срочно, пока охота есть. Перевожу, как машина (как ты). Написал несколько стихов. Что делает Соколов? Венчает «розу белую с черной жабой»? Какнеоклассик Шкляревский и архилирик Рубцов? Сила нечистая...

Пиши, как жив. Толя».

Следующее письмо написано в 1966 году, когда я был составителем «Дня поэзии» и попросил Передреева прислать мне из Грозного стихи для альманаха.

«Дорогой Стасик!

Телеграмму твою получил с большим опозданием. Высылаю тебе два старых своих стихотворения. Если можешь, напечатай оба. По одному не надо. Одно я тебе предложу, когда напишу «Гренаду». Новые все черновые, и работать пока было некогда. Родилась дочка Леночка, и с этим у меня всяческие хлопоты и головокружение. Много пил и чуть не помер.

Предлагаю тебе еще двух оболтусов. Не бесталанных, как ты сам убедишься. Одного из них ты знаешь — Юра. Помнишь, у нас в гостях в Москве на дне рождения что ли, он плясал с Шемой лезгинку. Но в стихах он сугубо русский и даже, по-моему, слишком. А в жизни он просто хороший, преданный спиртоносный мальчик.

Второй — Подунов, уникум г. Грозного. Человек, заслуживающий самого неотложного снисхождения. Они будут счастливы, а тебе, я думаю, ничего не стоит напечатать по одному-двум стихотворениям... Привет тебе от злого чечена, который ползет на берег и точит свой кинжал».

«Стасик, дорогой!

Только что вернулся из Баку и обнаружил твои телеграмму и письмо.

Жалко, что ничего не могу послать тебе для «Дня поэзии», тем более, что это единственная богатая лавочка.

Стих есть, но в набросках. Одни существительные. Письмо твое мрачно. Жаль Соколова. Хотя он сделал все, чтобы слово «жаль» приобрело чисто пчелиное значение. Выбери подходящий момент и обними его за меня. И Вадима, конечно.

Неужели Шкляра никогда не пойдет дальше строчки Бальмонта: «Хочу быть смелым, хочу быть дерзким, хочу одежды с тебя сорвать»?

В Баку жил долго, переводил.

Окончательно убедился, что «Персидские мотивы» вовсе не результат вдохновения Есенина. Просто, наверное, на него надели по пьянке чадру, и он написал все это под ее покровом. А в общем, «изжил себя эпистолярный жанр...»

22.4.68 г.»

Последняя строчка из моего стихотворения, насмешка над Шкляревским, объясняется тем, что я в эти годы сблизился с последним. Я чувствовал, что мы с Передреевым удаляемся друг от друга, душа тосковала, боясь одиночества, и появление
Игоря, яркого, молодого дарования, к которому можно было прислониться, как к младшему брату, любуясь им, помогая ему, ободряло и поддерживало меня... Я спорил с Передреевым, которому стихи Шкляревского, несмотря на внешний блеск, казались поверхностными и фальшивыми. Он был не прав, в них было своеобразное чувство жизни и слова, ощущение сиротской судьбы в шумном мире, молодое, порой яростное
жизнелюбие, которое в то время уже покидало Передреева.

*Мороз! На улицах темно.*

*Себя почувствуешь подростком,*

*Ударишь в конское дерьмо —*

*Звенит и катится по доскам*.

Передреев слушал и морщился: «И чего ты в нем нашел, он ведь — такой маленький!» - и показывал при этом большим и указательным пальцем, насколько мал Шкляревский.

Я не соглашался, но мой старший друг был проницательнее меня. Я это понял, когда Шкляревский через несколько лет предал меня так, как не предавал никто... Но об этом разговор отдельный.

Горько было глядеть на него в такие дни, когда в окружение ничтожных, жаждавших издаться в Москве, азербайджанских, туркменских или чеченских поэтов, он царил за богатым столом, окруженный их подобострастными улыбками, комплиментами, услугами.

Время от времени он взрывался, бросал им в лицо какую-нибудь оскорбительную правду, а то и затевал дебош, после которого обессиленный наливал стакан какого-нибудь редкостного напитка, привезенного ему в дар вместе с подстрочниками и внезапно осознавая всю унизительную двусмысленность якобы дружеской встречи, уронил лицо в ладони и надолго замолчал. В эти минуты даже монолог Хлопуши с его любимым вскриком — «эту голову с шеи сшибить нелегко» — он не хотел вспоминать...

Однако, даже тогда, когда он находился не в лучшем своем состоянии с ним «читались все, кто понимал, что такое поэзия.

Михаил Луконин и я мирно беседовали за столиком в кафе Дома литераторов, когда к нам подсел Передреев, который к тому времени измучился немотой, замучил высокомерием неошибающегося человека своих друзей и, в конце концов, остался в полном одиночестве.

Я представил ему Луконина.

— Луконин! Так это вы написали: лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой? — глаза у Анатолия нехорошо заблестели. — А что вы знаете о человеке, который пришел с пустым рукавом? У вас-то, я вижу, обе руки целые... Мой брат без обеих ног вернулся с фронта. Вы бы ему эти стихи прочитали... Интересно, что он бы сказал; лучше с пустым рукавом или не лучше?

Он уже кричал на Луконина, бешено ощурив глаза и размахивая руками.

Луконин с любопытством смотрел на него, известного своими скандалами, не возмущался, не уходил, только повторял время от времени:

— Ах, это вы Передреев? — Так вот вы какой, оказывается.

Ни обиды, ни ярости, ни негодования не было в его голосе — только любопытство и горечь...

Слова поэта — суть его дела. Так что не мог Передреев судить Луконина за несоответствие слов жизни. Но почему Луконин был так спокоен, грустен, почти мягок? Почему он не оскорблялся? Может быть, он чувствовал, что в страстных обвинениях его молодого хулителя есть какая-то правда? Может быть, он в глубине души сам стыдился того, что «слова поэта — суть его дела»?

*Как будто занят пустяками*

*Средь дел суровых и больших,*

*И вроде стыдно жить стихами,*

*И жить уже нельзя без них, —*

признавался себе Смеляков, один из самых самолюбивых поэтов, каких мне приходилось знать.

Но время от времени сознание личной обреченности порождало в Передрееве удивительную нежность к жизни, скорее даже не к жизни, а к воспоминаниям о ней, о ее тепле, о ее беззащитности, о своем прощании с нею.

*Наедине с печальной елью*

*Я наблюдал в вечерний час*

*За бесконечной каруселью*

*Созвездий, окружавших нас.*

*Но чем торжественней и строже*

*Вставало небо надо мной,*

Тем беззащитней и дороже

*Казался мир земли ночной,*

*Где ель в беспомощном величье (!)*

*Одна под звездами стоит,*

*Где царство трав и царство птичье,*

*К себе прислушиваясь, спит.*

*Где все по балкам и поленам,*

*И над мерцающим селом*

*Курится медленным туманом,*

*Дымится трепетным теплом...*

Однако в то время душа моя уже устала от разговоров о Блоке и Есенине, от застолий, которые хорошо начинались и плохо заканчивались, все неодолимей мне хотелось поездить по всей стране, побывать на Севере и на Юге, снова погрузиться в мир природы, которым я жил и дышал в отрочестве... Передреев иронизировал над моими чувствами такого рода, литература, поэзия, книги, богема, как ни странно, для него значили куда больше, нежели вольный ветер странствий. Как-то в 1961 году я соблазнил его отправиться в байдарочный поход на Ахтубу. Рыбаки, охота, августовский зной, камыши, соленое дыхание Каспия... Мы раскинули палатки на берегу протоки возле необъятного арбузного поля. Протока изобиловала судаками, жерехом, чехонью, а синий ночной воздух — комарами и москитами,

Через три дня Передреев исчез из лагеря. Ушел и не вернулся. Каким-то образом добрался до ближайшей станции и уехал в Москву. Но впечатление от этой поездки осталось в его памяти настолько сильным, что много лет спустя он произнес знаменательную фразу: «Не люблю я эту природу... Комары... Шема…»

Свою жену чеченку Шему он привез из Грозного, может быть, только для того, как мне кажется, чтобы его роман походил на историю любви Печорина и Белы, или чтобы написать стихи оКавказе:

*Первородная природа,*

*Хаоса хрусталь.*

*Поднебесная свобода,*

*Ледяная даль.*

*Что с сияньем этим грозным*

Породнило нас?

*Как своим дышал я звездным*

*Воздухом, Кавказ!*

*И воды твоей напился,*

*Припадая — пью...*

*И нечаянно влюбился*

*В женщину твою.*

*И поставил все на карту*

*До последних дней, —*

*На крестовую дикарку*

*Из страны твоей...*

Он, как будто бы всю жизнь «подгонял» под поэзию и потому во времена, когда вдохновение оставляло его, жизнь для Передреева, естественно, теряла смысл.

В его письмах я нашел два пожелтевших листка. Вспомнил: однажды Толя ночевал у меня, я утром куда-то ушел, а, вернувшись вечером, нашел на своем столе несколько шуточных экспромтов и пародию на одно мое стихотворение. Делать ему было нечего целый день.

*Все, все в душе похороню*

*Пойду, смиренный и печальный...*

Лишь перед чаем сохраню

*Восторг души первоначальный!*

*Не щади меня в печать —*

*на устах моих печать.*

*Я Анатолий Передреев!*

*Пускай узнает это всяк...*

*Я должен жить среди евреев,*

*Чтоб умереть у них в гостях.*

А пародия была написана на мое стихотворенье, которое Толе очень нравилось, и он знал его наизусть:

*Не то чтобы жизнь надоела,*

*не то чтоб устал от нее,*

*но жалко веселое тело,*

*счастливое тело свое.*

*которое плакало, пело,*

*дышало, как в поле трава,*

*и делало все, что хотело*

*и не понимало слова.*

*Любило до стона, до всхлипа,*

*до тяжести в сильной руке*

*плескаться, как белая рыба*

*в холодной сибирской реке.*

*Любило простор и движенье,*

*да что там — не вспомнишь всего,*

*и смех, и озноб, и лишенье —*

*все было во власти его.*

*Усталость и сладкая жажда,*

*и ветер, и снег, и зима,*

*а душу нисколько не жалко —*

*во всем виновата сама.*

Передреев написал пародию в ерническом, барковском стиле, не пощадив ни мои стихи, ни себя, ни свою жену красавицу-чеченку Шему. Цитирую так, как написано у него — буква в букву:

*Не то чтобы жизнь надоела,*

*И горек познания плод,*

*Не то чтобы жалко мне тело,*

*Но жалко мне крайнюю плоть.*

*Вставала она то и дело*

*На всякую Schliucken sie Deich*

*И делала все, что хотела,*

*И вот ей ничем не помочь.*

*Была она палка, как палка,*

*Но не понимала слова...*

*И Шему — нисколько не жалко,*

*Во всем виновата сама.*

Одна из последних наших встреч была в том же пресловутом Доме литераторов. К нам подошел Олег Михайлов:

— Толя, я очень люблю твои стихи, хочешь, вот сейчасдесять стихотворений прочитаю на память.

Передреев сразу же протрезвел и перестал улыбаться:

- Не надо, Олег, — как бы через силу сказал он, — не надо, а то я заплачу...

В моей поэтической библиотеке остались всего лишь две его книжечки с дарственными надписями. На одной из них(«Равнине»), вышедшей в 1971 году, он написал: «Стас! Не велик результат этих лет, но не весь тут «венец творения».

С любовью. Твой Толя».

Числа нет, а поэтические строчки — из одного моего стихотворения, чуть-чуть к месту перефразированные... Портрет его в этом сборнике прекрасен: молодое лицо русского парня, немного нагловатый, но обаятельный и смелый взгляд, куда-то вдаль, копна светлых волос, падающая на лоб, аж до бровей.

Породистое лицо...

На второй это же лицо и те же волосы до бровей, но взгляд полный отчаяния и боли смотрит прямо на тебя, скулы напряжены, от крыльев носа к уголкам рта чернеют глубокие морщины поперек страницы размашистая надпись: «Стасик! Спасибо, что ты есть! Как поэт и как человек. С любовью. 16.III. 1987 г.

А.Передреев (Толя)». Через восемь месяцев он умер у себя дома, на диване, с книжкой в руках, от сердечного приступа.

Молодость его прошла в городе Грозном, там похоронены его отец и мать. Именно там он написал в 1969 году кавказские стихи о своих земляках, чеченских поэтах:

*Нас вовеки*

*не раздражит*

*никакой Коран*

*не разнимет нас*

*обиды*

*позапрошлый крик —*

*Пересохла речка битвы.*

*Речка Валерик…*

*Пересохла речка крови...*

Поэт Анатолий Передреев ошибся. Свежей кровью вскипели чеченские реки, вдребезги разбит его саманный дом на окраине Грозного, могилы отца и матери, саратовских крестьян из деревни Старый Сокур, забыты и неухожены. Некому в городе Грозном думать о старых могилах, младший брат и сестра Передреева где-то затерялись на необъятных просторах России. Остались только стихи, да и то лишь в памяти тех, кто еще помнит его.

*Не помню ни счастья, ни горя,*

*Всю жизнь забываю свою,*

*У края бескрайнего моря,*

*Как маленький мальчик стою.*

*Как маленький мальчик, на свете,*

*Где снова поверить легко,*

*Что вечности медленный ветер*

*Мое овевает лицо.*

Что волны безбрежные смыли

*И скрыли в своей глубине,*

*Те годы, которые были*

*И снились которые мне.*

*Те годы, в которые вышел*

*Я с опытом собственных сил.*

*И все-таки, кажется, выжuл,*

*И, кажется, все же не жил.*

*Не помню ни счастья, ни горя...*

*Простор овевает чело.*

*И кроме бескрайнего моря,*

*В душе моей нет ничего.*

Мы Похоронили его на Востряковском кладбище.

АНАТОЛИЙ ШАВКУТА

ГОЛОС ДРУГА

Поэт Анатолий Передреев за всю свою жизнь написал всего одну книгу стихов. Некоторые наши знаменитые поэты написали в десятки раз больше и с виду их стихи не хуже… Но Передреев остался в поэзии. Они – нет. Почему?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним те времена, когда А. Передреев как-то вдруг, внезапно, как бы из небытия взлетел на поэ­тический Олимп. И занял там сразу же свое, только ему принадлежащее место.

Это было время открытий, время оттепели. По первым же произведе­ниям - рассказам, повестям, стихотворениям опытные, заслуженные масте­ра всенародно давали путевки в жизнь молодым. И, надо сказать, надежды и пророчества учителей ученики в большинстве случаев оправдали,

Я помню, в 1954 году в Тбилиси, в гостинице, Вл. Соколов читал нам первые стихи еще никому неизвестного Рубцова. Он восторгался ими, твердил, что в поэзию пришел настоящий поэт. А всего-то и было стихов пять-десять, не больше, разве что среди них уже были такие прекрасные, свежие и неожиданные, как стихи о Филе: «Там в избе деревянной без претензий и льгот, так . . . без газа, без ванной добрый Филя живет». Своим безошибочным поэтическим чутьем Вл. Соколов угадал в Рубцове будущего своего собрата и поддержал его на первых же шагах. То же самое сделал в отношении Передреева Асеев. Передреев тогда работал шофером в Братске. Даже не онсам*,* а его товарищ прислал несколько стихов Анатолия в «Литературную газету», и они попали к Асееву. Буквально через несколько дней стихи эти были опубликованы с напутствием Асеева, а через несколько месяцев юный поэт, дитя окраин, не шибко, по-видимому, образованный, но наделенный абсолютным чувством гармонии, слова, ритма оказался в Москве, в Литинституте. Так в те времена прорывались на свет таланты. Трудно переоценить значимость этого формирующего будущий характер поэта явления: входили без мыканий в редакции, без унижений, без ломки психики. Для Передреева, я думаю, это было одним из главных моментов гранения его исполненного внутреннейсилы и достоинства характера.

Но это было лишь начало. Попав в огромный, незнакомый и для приш­лых бездушный город, Передреев не только не удержался в нем, но и сделал тот самый решающий шаг, который отличает настоящего поэта от лица случайного в поэзии. Он написал свои программные стихи, прозвучав­шие как манифест. Ибо это было еще в то время, когда общество было способно высоко ценить стихи-манифесты, стихи, выражающие общие сокро­венные настроения.

Это тогда, в те времена, Вл.Соколов, провозвестивший в противовес шумной и крикливой эстрадной поэзии «тихую лирику», написал знаменитое «вдали от всех парнасов, от мелочных сует со мной опять Некрасов и Афанасий Фет». А чуть позже Рубцов выступил со своей, тотчас же отрезонировавшей в сознании читателей «Деревней»: «В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь...», предъявив миру как символ, как сущность и как живую сегодняшнюю реальность свою малую, любимую им до боли «тихую родину». Передреев написал не менее значительные и не менее знаменитые стихи об окраине, пригороде, своей малой родине: «Околица родная, что случилось, окраина, куда нас занесло, и города из нас не получилось, и навсегда утрачено село». Были потом еще стихи - класси­чески-строгие, точные, наполненные энергией болящегогорячего сердца, но с этими самыми известными, дошукшинскими и сошукшинскими, он вошел в большую поэзию и по праву теперь существует в ней.

Но есть еще более важное из всего того, за что мы любим Передреева и чтим его, - то, что постороннему взгляду не видно, но посвя­щенным понятно и близко. И я попытаюсь рассказать об этом кратко.

Легкой, как бы нечаянной удачей Передреев был отмечен недолго - года два-три, не больше. Последним его приветил А.Твардовский. Я помню эту историю во всех ее забавных деталях. Накануне переводы Передреева напечатали в «Известиях». Большой такой подвал, целое «бомбо­убежище». Радостный, он явился в бухгалтерию газеты (кто не знает, как живут молодые поэты? А если кто не знает, то разве не догадывается? Бедно живут, хоть и счастливо). Окрыленному автору переводов заплатили 55 рублей. «Но почему? - искренне удивился он. - Там же много строк, очень много». – «При чем здесь деньги? - ответили ему. - Напечататься у нас - большая честь». В «белых тапочках» видел бы он эту честь. У него денег ни копейки. Тут же вскоре такая же история повторилась с «Комсомольской правдой». Там заплатили вместо трехсот - 35 рублей. То­ля был потрясен: столько труда (а он уже знал цену труда и сравнительную цену тоже) - и такая оплата. Было о чем задуматься. И тут звонок из «Нового мира»: «Придите получить аванс». – «Какой аванс? - возразил он, боясь подвоха. - Там всего четыре коротких стиха» (там были, нас­колько я помню, «Робот», «Река», «Облака», «Гуинплен»). «Приходите», - ответили ему. Он пришел. Ему выдали 400 рублей наличными. «Вы не ошиб­лись?» - на всякий случай спросил он у редактора. «Нет, - отвечали ему. - Александр Трифонович сказал: «За такие стихи нужно платить золотом». Сколько было радости! Прямо из «Эльбруса» мы поехали на вокзал (я был как раз в отпуске), а оттуда в Грозный, домой, к родителям. За­были в поезде деньги, догнали на такси... Отыскали... Это была воля, свобода, это была жизнь поэта!

А дальше начались новые времена. К власти пришла клика Брежнева. Медленно и верно удушали они все живое и талантливое в стране. Поощряли ложь, лакейство, предательство, измену идеалам. В поэзии на плаву остались только биологически сильные, пробивные, шумные люди. Они умудрялись одновременно угодливо читать свои газетно-публицистические вирши на дачах членов Политбюро и гневно, страстно, обличающе - в залах. Они ухитрялись не вылезать из-за границ, наживать миллионные состояния и на весь мир кричать, что их обижают, не печатают, не признают, не платят…

Потребовалось большое мужество у представителей той волны, которую критики когда-то назвали «тихой лирикой». Потребовалось хотя бы потому, что они не могли не подтвердить своего поэтического кредо. Это были последние романтики в нашей поэзии. Они оплатили свой дар и свою привязанность трудной судьбою. Мы знаем, как умер Рубцов. Мы знаем, как умер Передреев. Но мы знаем и другое. Чистоте своего стиха они ос­тались пожизненно верны. Более того, они равнодушно презирали тех – иных.

И вот что всегда поражает меня, когда я вспоминаю историю всей моей двадцатилетней дружбы с Передреевым (а мы земляки, из одного города, и чувствовали себя братьями. Он - старшим). Что удив­ляет и даже озадачивает меня: никогда, ни разу за все эти долгие годы я не слышал от него ни одного слова жалобы. Он был горд. Он не жаловался. Он был последовательным и цельным в своем призвании человеком и знал, что это он выбрал свой путь, а не его кто-то выбрал. Он не жало­вался. Разве что прочно вошла в его стихи ностальгия по далекой своей счастливой родине (не географического места, а времени - юности, роди­тельского дома, того другого – окружения).

Сейчас я понимаю, что это и есть Личность. И если при жизни я лю­бил его за обаяние, за жест, за точность слова и чуткость к малейшим колебаниям интонации, фальши, фарисейству, за верность в дружбе и детскость души, то сейчас я все более и более приникаю сердцем к его примеру. И когда я думаю о своей запутанной, непонятной порою даже мне самому и не очень счастливой жизни, то вспоминаю его, слышу его голос и вижу его спокойно-насмешливое лицо, и мне становится легче, я нахожу опору и оправдание. Не тому, в чем я виноват перед миром, а тому, что называю внутренней жизнью. Ведь прожил же он ее честно и мужественно, и я вспоминаю его с благодарностью. А скольких забыл, ни разу не вспомнил, вычеркнул из своей памяти, мертвых еще при жизни, не нужных никому на белом свете, хоть и богатых и преуспевающих. Обделенных судьбою.

\* \* \*

Он был не только прекрасным поэтом. Он был мастером перевода. Мне часто случалось видеть людей, сделавших перевод ремеслом. Они не поднимали, а девальвировали подстрочник. Помню, в Тбилиси один из мос­ковских поэтов переводил чудесное стихотворение о грузинской свадьбе. «Роква, роква, даикуха тамада! Да гахурда дайра да гитара!» - звучали первые строки. Рокот бубна, энергия танца, веселое буйство слышались в них. Перевод был откровенно плох… «Танец, танец! - вскричал тамада». Куда все девалось - захватывающее, стремительное? Поэт был доволен собой.

Передреев чувствовал стихию чужого языка.

Переводил он быстро и, на взгляд со стороны, без напряжения, А может, так оно и было. Его оставляла иссушающая душу требовательность к форме и содержанию своей поэзии и приходила раскованность. – «Проходит все, - стремительно, чтобы успеть за своей мыслью и чувством - пи­сал он прямо в подстрочнике Магомета Мамакаева, - как дождик по доро­ге. Проходит все, как пыль, как облака. И даже та, что всех была доро­же, сегодня мне печально далека. И только вам, видения отчизны, в моей душе угаснуть не дано…» Цвели вишни совхозного сада перед распахну­тым окном. Сияли вершины Кавказского хребта. Мы встретились дома, на нашей малой родине, он спешил закончить перевод, пока его не отпустило настроение, его состояние было понятно мне. Мы были молоды и счастли­вы.

На родине он делался мягче, светлее. Москва не давила на него своей сутолокой и разобщенностью душ, но от Москвы ему уже некуда было деться... – «У нас нет родины», - с горечью говорил он мне через нес­колько лет (мы были переселенцами и, потеряв кавказскую свою родину, утратили ее во второй раз). - Родина, - возражал я ему, наспех приду­мывая слабое для нас утешение - это ряд дорогих лиц. – «Да, да, ко­нечно» - соглашался он и замолкал надолго. Говорил он мало, больше слушал. Был избирателен в общении, независимо от ранга собеседника и обширный запас его знаний был почерпнут не только из книг, но и в раз­говорах со знающими и увлеченными людьми - свойство всех самородков из глубинки, не потерявшихся в Москве, а даже, наоборот, ставшие частью ее культуры.

Голос крови ли или влияние просторов России на восприимчивую душу поэта вернули ему родину на его исконной российской земле, и все же дом матери и отца вспоминался ему постоянно. Так, Есенин - его люби­мейший поэт, о чем бы ни говорил, все равно возвращался к своему ря­занскому селу. Да что там возвращался! Его бумерангом откидывало на­зад, туда, откуда он взлетел. – «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» И вдруг - поле, рожь...

Был он строен, высок. Жест естественный, взвешенный внутренним чувством меры, если хотите, княжеский, не будь в этом слове некоей высокопарности. Временами был мрачно остроумен. – «Окно, - говорит, - у вас найдется?» - Окно... какое окно? Тут стенка выпала…» Все в нем талантливо, ненавязчиво покоряло. Но больше всего мне запом­нилась его улыбка. Идет гордый, уверенный в себе человек (не самоуве­ренный и не заносчивый - спокойно уверенный), смотрит испытывающе - не подсматривая и не вычисляя - разгадывающе. И вдруг улыбнется незащи­щенной доверчивой улыбкой и вам становится тепло и покойно.

Он никогда не выступал на митингах и собраниях. Не из принципиальных соображений - от внутреннего равнодушия. Искренне недоумевал, даже огорчался, когда кто-нибудь укорял его в том, что он «отошел от борьбы... не поднимает знамя»... и т.д. Он не «боролся», нет. Он писал чистые, неподдельные стихи о родине, матери, любимой женщине. И этого ему хватало. Истинный поэт самодостаточен. Ему не нужны костыли, котурны. Он со звездами говорит, с лугами. А уж «борцов» было в его время, как и сейчас - ряды, колонны! «Кто с отзывчивым талантом мчит на твой простор так, как будто эмигрантом был он до сих пор».

Он был горд. Он понимал, что он, с его неумением тор­говать своей душою, примыкать к стае, даже под флагом «защиты» Отечества, «раскручивать» себя, обречен на тяжелейшее существование. Отсюда шла подчеркнутая независимость поведения, щеголеватость одеж­ды, вольная повадка свободного человека. Отсюда и изнурительная, в последние годы все более поглощавшая его, работа над переводами. Он любил свою дочь, дорожил преданной, горячо переживавшей за него женою, он не мог не думать об их благополучии, но и не мог ради де­шевого достатка ловчить, стаскивать с общего стола кусок побольше, все равно дача ли это, заграница или приносящий доходы пост ответ­ственного работника. С годами я понял, что и необъяснимые порою выходки Пушкина, и эпатаж Есенина, и добровольное заточение Рубцова в деревне были следствием одного и того же явления в жизни русского общества - равнодушия к судьбе боготворимых им поэтов, и их житейская обделенность, неустроенность, бытовая неприспособленность, и, в конечном счете, нужда, бездомность, надлом. Передреев был одним из них. После смерти на его сберегательной книжке не ос­талось и рубля. Можно себе представить, как рвалось его сердце при одной только мысли, что самые дорогие ему, родные люди, оставшись без него, окажутся незащищенными от жестокости жизни.

Отсюда и его уничтожающая интонация в разговоре с ловко устроившимися ничтожностями, и сарказм, и мрачное остроумие – все это было. Как и трогательное внимание к друзьям, праздничная веселость и доверчивость – с близкими по духу людьми. Он и в жизни (а не только в стихах) был поэтом.

В Новгороде, по приезде Передреева в гости, я потащил его на хим­комбинат, который мы тогда там монтировали. Сейчас у меня часто опра­шивают, не стыдно ли мне, что я участвовал в строительстве индустриальных чудовищ? Нет, конечно. Я делал свою работу. Взорвать, что ли было эти установки, в которые я и мои товарищи вложили свою душу? Мы верили, что аммселитра и ацетилен, ацетальдегид и карбамидные смолы нужны родине, и мы жили в атмосфере труда, созидания.

Я с гордостью показывал Анатолию стройку, весь этот парад колонн и эстакад, башен и градирен, как вдруг увидел, что лицо его побледнело, изменилось болезненно. – «Что с тобою?» - с тревогой спросил я. – «Ничего, - ответил он. - Уедем отсюда».

Тогда я ничего не понял. Сейчас понимаю: металл и бетон стройки были для него неживыми. Как впрочем, и для большинства настоящих поэтов.

У Станислава Куняева есть великолепное стихотворение о своей и Анатолия молодости. Речь в нем идет о том, как два поэта, встретившись в «звездный» час эпохи - пуск Братской ГЭС, засиделись и забыли о самом грандиозном событии дня.

*Мы загуляли до утра,*

*Нам дела нет, что Ангара*

*Величественно прибывает…*

Чувство внутренней свободы, независимости поэта (не то, что поли­тической, упаси боже! не до нее), юношеской раскованности и жизни по сердцу, было внезапно прочувствовано Куняевым - человеком логики и же­лезкой последовательности. Может быть, именно потому, что он говорил о Передрееве, о днях своей вольной, незапрограммированной молодости...

- Но молод мой высокий друг - пишет он, как бы забывая о себе, и тут же с азартной точностью добавляет. – И я самозабвенно молод.

Влияние Передреева было всегда ощутимо, еще и потому, что у него кет больных стихов. Классичность, вкус, чувство меры – неотъемлемые составляющие его поэзии. На сравнительно малом пространстве он су­мел сказать многое. Обратите внимание на тематическую широту его стихотворений. «Гуинплен» и «Лебедь у дороги», цирк и работа на стройке, кондуктор и Мишка Мурашкин, посвящения друзьям и классикам, космос и природа - весь этот сложный и разнообразный мир отражен емко и естественно, без видимого усилия. Как и Рубцов, он жил только поэзией и для поэзии. Другого пути Мастеру не дано.

Я убежден что и Передреев и Рубцов были последними поэтами есе­нинского толка. Будут еще писать об уходящей деревне и пригородах, по­хожих на нее, но это будет просто грусть или просто чувство или мысль. Драмы не будет. Судьбы не будет. Уже научились жить в мегаполисах. В пригородах не было топорного и сухого этикета. Было шумно, многолюдно, жили на виду. Ходили и просто забегали друг к другу в гости или по делу. Рассказывали, показывали, делились радостью и горем. Шумно справляли торжественные события. Ревностно следили друг за другом.

Не случайно многолюдный, гостеприимный дом Вадима Кожинова так привлекал молодого Передреева. А если вспомнить, какие таланты там со­бирались, то и вовсе станет понятным, сколько счастливых дней он про­вел там.

- Настрой же струны на своей гитаре, - писал он в стихотворении, посвященном В.Кожинову, - Настрой же струны на старинный лад, в котором все в цветенье и разгаре - Сияла ночь, луной был полон сад.

И вспоминаются их молодые благородные лица, гитара, романс, приглушенный голос певца, светлая их печаль.

«Еще не все потеряно, мой друг!»

Вспоминается музыка его стихов, так хорошо почувствованная нынеш­ней молодежью через десять лет после его смерти. Они не знали его, но нашли для себя его стихи и поют как

*... где-то музыка звучала*

*Звала меня со всех сторон.*

Это его новаторская по тем временам (из русской классики) «Равнина».

*Все необъятнее, все шире*

*Росла звенящая волна,*

*Пока не понял я, что в мире –*

*Луна. Равнина. Тишина.*

*Что ночь блистает, серебрится,*

*Кусты и травы ослепя,*

*Что под луной ночная птица*

*Поет и слушает себя.*

*И, на равнину тихо выйдя,*

*В сиянье лунного огня*

*Со всех сторон, меня не видя,*

*Деревья смотрят на меня.*

*И все живет вокруг, толпится,*

*И по мерцающей земле*

*Идет ко мне, и прячет лица,*

*И вновь скрывается по мгле…*

Стихи и воспоминания о нем пишут поэты разных поколений. И в этом наше счастье - помнить ряд дорогих тебе лиц.

ВЕНОК АНАТОЛИЮ ПЕРЕДРЕЕВУ

# ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

\* \* \*

*Душа устала от поминок,*

*От сожалений и крестов.*

*Я радости хочу, как инок*

*Забытых Оптиных скитов.*

*Прощай, высокий Анатолий,*

*Прощай, ребенок бедный мой.*

*Еще не сложен капитолий,*

*Где б мы увиделись с тобой.*

*Ужасно снег сегодня взвинчен.*

*Околица пустым-пуста.*

*И с кем мне радоваться нынче,*

*С кем... возле этого креста?*

## *Как страшно, Толя, до рассвета*

*Петлять по полю без следа...*

*И улиц нет... И нет поэта.*

*Лишь воля божьего суда.*

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

\* \* \*

*Он во сне перешел свой предел…*

*А когда-то от полного чувства*

## *Человека увидеть хотел*

*На толкучем базаре искусства.*

*Он легко верил только себе,*

*Все хватал на лету и смеялся.*

*«Ты слепая!» - сказал он судьбе*

*И один на распутье остался.*

*А теперь мы проститься пришли,*

*Одного перед богом оставить.*

*И холодные комья земли*

*Мы бросаем на скорбную память.*

*Кто мне скажет, откуда сквозит?..*

*Может быть, у последнего края*

*Его ангел-хранитель стоит,*

*Перебитым крылом помавая.*

*Это он навевает ему*

*Тишину вековечного слова*

## *И роняет в могильную тьму*

*Ком холодный от мира иного.*

*Это падает с неба звезда,*

*Освящая могилу поэта.*

*Это знак, что уже навсегда*

*Он ушел по ту сторону света.*

# ЭДУАРД БАЛАШОВ

\* \* \*

*Лежал он молодо в гробу.*

*К нему со Словом обращались*

*И те, кто сердцем восхищались,*

*И те, кто прежде отвращались,*

*Но все кивали на судьбу.*

*Как будто из последних сил*

*Лежал он, обликом прекрасен,*

*Витиям и чинам опасен,*

*Бездарностям невыносим.*

*Скорбел недвижный хоровод.*

*Деревья наклонялись слепо.*

*Душа его глядела с неба,*

*Как мерз и горбился нелепо*

*Друзей разрозненный оплот.*

*Вот гроб прибрали кое-как.*

*Невидимо за суетою*

*Ко лбу его рукой простою*

*Прижато было «Трисвятое»,*

*Молитва сунута в кулак.*

*Лежал он, как жених, светло.*

*И снег слетал пугливый, редкий,*

*На «Святый Боже, Святый Крепкий...»*

*И на бессмертное чело.*

МИХАИЛ ВИШНЯКОВ

\* \* \*

*Отчего ты грустен, русский человек?*

*То ли дело к свадьбе, то ли к непогоде?*

*Позади бездомность, впереди ночлег,*

*сонная калитка, садик в огороде.*

*Отчего ж ты долго, сильный, молодой,*

*слушаешь, как ветер завывает в поле?*

*Или ты бедуешь со своей бедой?*

*Или ум за разум - изнемог от воли?*

*Расцвела хозяйка зрелой красотой.*

*Почка родниковая дышит из колодца.*

*Русскую бездомность пустят на постой,*

*вдруг да отоспится, вспомнит, отзовется.*

*Вдруг да просто спросят: «Добрый человек,*

*дом чужих приветил, а свои забылись?»*

*Кто стучал в калитку - зэк иль печенег?*

*Небо огнезвездно, спутники роились.*

*Кто и чем наполнил память мужика?*

*Или вечер светлый, или ночка темная?*

*Может, мать приснилась, может быть, река.*

*Думушка ты, дума, русская, огромная...*

# РАИСА РОМАНОВА

\* \* \*

*Поэт напряжен, как струна,*

*А жизнь его хлещет по нервам.*

*И, первым восстав ото сна,*

*В тьму вечную сходит он первым.*

*Поскольку несет из глуши*

*К сверкающим высям сознанья*

*Всю жажду творящей души,*

*Всю краткую боль пониманья.*

*Идет он, шатаясь, идет.*

*И путь его - невыносимый.*

*А кто-то судачит: - Он пьет*

*И мается дурью красивой...*

*И бренная плоть на него*

*Вериги свои налагает,*

*А душ золотое родство*

*Он так и вовек не познает,*

*Поскольку велик его спрос,*

*Поскольку строга его совесть,*

*Поскольку свята его злость,*

*Поскольку горька его повесть.*

*И пусть ощущает он ход*

*Светил - и давление света...*

*Но если унижен народ –*

*Взрывается сердце поэта.*

# ИВАН САВЕЛЬЕВ

# \* \* \*

# *Наши годы сделались нагими,*

# *Как усадеб старых городьба...*

# *Замирает сердце у богини*

# *С непокорным именем - Судьба.*

# *Сердце у богини замирает,*

*Еле-еле прогоняя кровь, -*

*Это жизнь, что пела, убывает,*

*Чтобы ко всему я был готов.*

*Я - готов!*

*Да мы и все готовы*

*Отстоять последний караул, -*

*Потому глаза у нас суровы*

*И жестоки очертанья скул.*

*И, верны возвышенному братству,*

*Даже у юдоли роковой*

*Не дадим вселенскому злорадству*

*Слабостью злословить над собой.*

*Будем петь - пока не станем пылью!*

*Мужество врагу не отдавать,*

*Чтобы стать легендою и былью,*

*По которым будут тосковать...*

# ВЯЧЕСЛАВ БАЙБАКОВ

\* \* \*

*Когда сидел у Музы под арестом,*

*Смотрел в ее жестокие глаза,*

*По стадионам с духовым оркестром*

*Поэты шли, натужа голоса.*

*Казалось им, что Космос звездной дрожью*

*В сердца людей под звон метафор пал.*

*Но вы - вас мало - не прельщались ложью,*

*И ты доверчиво друзей искал.*

*И находил сочувствие и злобу,*

*И словом тихим заглушал свой крик...*

## *Могли ль подумать, что так рано гробу*

*Мы предадим тебя, целуя лик.*

*Не над тобой трепещет медь оркестра,*

*Опять фальшивит первая труба.*

*Но дерзко в жизни избранное место*

*Благословляет русская судьба.*

*Стоят в снегу березы у могилы,*

*И небо льет на елку вечный свет...*

*Ушел в какую даль, исполнен силы,*

*Беседуешь с Создателем, Поэт?..*

*Как скоро ночь над миром пролетела!*

*Еще сознанье брезжило в ночи,*

*Когда пронзили душу мне и тело*

*Зари летящей тонкие лучи.*

*Когда ветла от ветра задрожала,*

*Зашевелилась павшая листва,*

*Вздымалась грудь от вспыхнувшего жара,*

*От ощущенья нежности, родства...*

*Все соразмерно в жизни быстротечной,*

*Но если юн душою до конца,*

*Не забывай: покой твой будет вечный*

*В тени земного твоего лица.*

ОЛЕГ КОЧЕТКОВ

\* \* \*

*Даль надежды на мертвых устах...*

*Завлекла и осталась с тобою!*

## *И в каких теперь звездных полях*

*Над безмолвием встала судьбою!*

*На равнину слетается снег*

*И целует чело ледяное.*

*Вновь один - в окружении всех,*

*Но объят уже думой иною...*

*Еще дух твой струится на нас,*

*Так бессильно его осязаем!*

*Но покамест не пробил наш час –*

*Ничего мы о нем не узнаем!*

*Он теперь в запредельном, ином,*

## Высоко, в глубине занебесной!

*Он помечен всевышним перстом*

*И от нас отделен уже бездной!*

*Но собой все равно - тяготит...*

*И чем далее - тем ощутимей!*

*Беспредельность меж нами лежит,*

*Грезит чаяньями твоими!*

АНАТОЛИЙ ПЕРЕДРЕЕВ

# НОСТАЛЬГИЯ

*Далекого детства округа,*

*Златая ее лебеда,*

*Ее колыбельная вьюга,*

*Ее голубая звезда!*

*Далекая улица счастья,*

*Где долго не длится печаль,*

*Где все развевает ненастья*

*Весны лепестковая даль.*

*Где в лунном таинственном свете*

*Цветет и любовь, и мечта...*

*Теперь между нами навеки*

*Легла роковая черта.*

*Другие меня окружили*

*И ночи, и дни навсегда.*

*Другие меня закружили*

*Дороги, края, города.*

*В какую я впутался спешку,*

*В какие объятья попал,*

*И как я, под чью-то усмешку,*

*Душою еще не пропал?!*

*Нельзя ли к стене прислониться,*

*Забыться нельзя ли?..*

*И вдруг*

*Увидеть привычные лица —*

*Откуда такие вокруг?!*

*Какая великая дума,*

*Какая забота у них?..*

*Спешат среди вечного шума*

*Вершители судеб своих.*

*Я с вами, конечно, я с вами,*

*Другого пути не дано.*

*Одно у нас время и знамя,*

*И небо над нами одно.*

*И в той же безудержной страсти*

*Я в грохоте дней колесю...*

*Но помню, как тихое «здрасьте»*

*На улицу слышалось всю.*

*Где настежь распахнуты окна,*

*Лучатся глаза из-под век,*

*Где видит меня издалека,*

*Навстречу идет человек.*

*Где все узнавали друг друга,*

*Где радость — на всех*

*и беда...*

*Моя золотая округа,*

*Святая моя лебеда!*

*1985*

# ***Т Р И Б А Л Л А Д Ы***

***А Н А Т О Л И Я П Е Р Е Д Р Е Е В А***

 Жанр баллады считается *романтическим*. В наше антиромантическое время он воспринимается почти как ретро. Нельзя сказать, что ныне возникла тоска по романтическому. Сегодняшнему времени и деловому современнику слово «тоска» не близко. Скорее, при встрече с балладой, современник будет удивлён, и будет ощущать себя не в своей атмосфере. Может этим баллада и поразит его: нездешностью сюжетов, но при том – искренностью чувств и похожестью переживаний героев баллады и наших современников. Баллады Анатолия Константиновича Передреева (1932-1987) еще необычны тем, что они *не исторические*, как большинство баллад, а *автобиографические* (чему примеров я не знаю). Внутренний же *драматизм*, присущий подавляющему большинству баллад вообще, и у него остаётся неизменным.

 ***«Ботинки»*** – баллада, полная юмора и скрытого лукавства. Драматическая коллизия ее (происходившая летом 1946 года) так знакома современникам! Последняя строфа публикуется впервые. В предыдущих сборниках её не было. Но на одном из выступлений московского композитора А.Н.Васина, написавшего песню на текст баллады и исполнявшего её, эту строфу подсказал композитору друг А.Передреева Анатолий Шавкута, который помнил эту строфу.

 ***«Баллада о безногом сапожнике»*** – быль (начало её основного события: потери героем обеих ног в бою под Киевом – относится к зиме 1941-1942 годов). Без обеих ног пришёл с войны брат Анатолия Михаил Константинович Передреев (1922-1997), родившийся, как и Анатолий, в деревне Новый Сокур Мариинской волости, а ныне - Татищевского района Саратовской области. С «Балладой о безногом сапожнике» связаны и семейная трагедия, и слава поэта, которая пришла к Анатолию Передрееву после публикации её в «Литературной газете», и курьезный случай – он пересказан в «Литературной России» и в книге Станислава Куняева «Поэзия. Судьба. Россия.» (Т. 1, 118): «…Анатолий написал «Балладу о безногом сапожнике», которую напечатала «Лит.газета», Борис Слуцкий, опекавший в те годы всех нас, показал эти стихи Николаю Асееву. Тому стихотворение настолько понравилось, что он, решив, будто бы Передреев стихи написал о самом себе, однажды, после того как Ворошилов вручил ему очередной орден и задал формальный по тем временам вопрос: есть ли у вас какие-либо просьбы? – вдруг решился:

* Климент Ефремович, у меня есть знакомый молодой поэт, чрезвычайно талантливый. Но без ног. Ему нужно бы за счет государства изготовить хорошие протезы…

 Вскоре Асееву позвонили из приемной Ворошилова и сообщили, что вопрос о протезах решен, но старый поэт уже выяснил, что Передреев прекрасно ходит по Москве на своих собственных ногах.

 Надо сказать, что со стороны Асеева это было решительным поступком, поскольку за ним водилась репутация скуповатого и черствого человека, которую он не раз подтверждал».

 Этот случай говорит о том, что «Баллада о безногом сапожнике» нравилась самым разным поэтам, они присматривались к молодому её создателю. Передреев был замечен и хвалим.

 ***«Баня Белова»*** уже не пышет тем молодым задором, коим пышат две предыдущие баллады, которыми Передреев покорил Москву. Она пронизана ностальгической грустью по своей собственной утраченной родине, вызванной путешествием (в 1985-м) на историческую землю Василия Белова (хотя ландшафт там совершенно другой). Безлюдье пустых домов по дороге, безлюдье лесов, рек напомнило Передрееву о безлюдье саратовской земли, где исчезла его родная деревня Новый Сокур, вокруг которой простирались бескрайние поля. И вывод из поездки по древним землям Севера у Передреева единствен: пора возрождать русскую деревню.

 Полные внутреннего драматизма баллады Анатолия Передреева порадуют современного читателя неподдельной искренностью и талантом.

***Б О Т И Н К И***

 Собралось множество народу,

 И каждый мне давал наказ,

 Поскольку в дальнюю дорогу

 Я собирался в первый раз.

 А мне завидовало столько!

 И надо было понимать –

 Я еду

 В город Севастополь

 В морскую школу поступать.

 И, старый шкаф открыв со скрипом,

 Собрав меня

 В серьёзный путь,

 Ботинки чёрные –

 Со скрипом –

 Мне мать позволила обуть…

 В вагон вошёл я по билету,

 А ехать мне четыре дня,

 И документ за семилетку

 Лежал в кармане у меня.

 И не сумел понять я толком,

 Откуда смог вагон узнать:

 Я еду в город Севастополь

 В морскую школу поступать!

 А пассажиры мне:

* Братишка!

Таких нельзя не принимать,

Да ты, милок, в своих ботинках

Парады будешь принимать! –

И было всё отлично,

В общем,

Я ехал весело и всласть,

Хоть ехал я

В вагоне общем,

Где негде яблоку упасть.

И на одном

Глухом вокзале

Заснул, как мёртвый, среди дня,

И среди дня ботинки сняли,

Ботинки новые,

С меня.

Ах, как я бегал по вокзалу,

Ботинки чёрные искал,

Вокзал

Жевал

И хлеб, и сало,

Вокзал

Сочувственно икал.

И было мне

Понятно только,

Что я остался босиком…

Ну, как я

В город Севастополь

Таким приеду босяком?!

…И почернели

Все дороги…

И воротился я

Домой.

А мать стояла на пороге,

И мать качала головой…

1959-1961

***БАЛЛАДА О БЕЗНОГОМ САПОЖНИКЕ***

Хорошая штука –

 пара ног

Из мяса,

 костей

 и крови…

Ходил

 по земле человек,

 как бог,

И не было бога

 кроме.

Шумело

 в его озорных глазах

Огромное

 синее лето,

Он в землю влюблён был

 и в небеса,

В четыре стороны света!

Любил он

 ходить по земле пешком –

Дымятся

 под солнцем дороги…

О, сколько

 можно разбить башмаков,

Имея

 крепкие ноги!

Когда он

 в футбол выбегал играть,

Гудела земля,

 как колокол…

Конечно,

 поэтом мечтал он стать,

Конечно, мечтал –

 геологом.

Он был,

 конечно,

 отчаянно смел,

Но не был

 ничуть виноватым,

Что только

 к Великой войне успел,

Успел только

 стать солдатом…

Пулемёт тупорыл,

 пулемёт картав,

И пули свистят

 всё гуще –

Хлестал пулемёт

 по кричащим ртам,

Строчил

 по ногам бегущим.

Упал человек

 на белый снег

В земном

 сумасшедшем громе,

И ноги

 подмял под себя человек

Из мяса,

 костей

 и крови…

Ходил по земле человек,

 как бог,

Весёлый,

 кудрявый безбожник…

Стучит,

 стучит,

 стучит молоток,

Сидит

 безногий сапожник.

Сидит

 в зелёной будке своей

В фанерной,

 пропахшей кожей,

И мимо

 течёт вереница дней,

Течёт

 вереница прохожих.

И люди

 любят ходить пешком –

Дымятся

 под солнцем дороги…

О, сколько

 можно разбить башмаков,

Имея

 крепкие ноги!

1959-1961

***Б А Н Я Б Е Л О В А***

**1**

В не лучшем совсем состоянье своём

Я ехал к Белову в родительский дом.

Он сам торопился, Василий Белов,

Под свой деревенский единственный кров.

И гнал свой «уазик» с ухваткой крестьянской

Сначала – по гладкой, а дальше – по тряской.

Везли мы с собой не гостинцы, а хлеб…

И ехали с нами Володя и Глеб.

Володя, в свой край нараспашку влюбленный,

И Глеб присмиревший, с душой просветлённой…

В начале пути нам попалась столовка,

Где жалко себя и за друга неловко.

Каких-то печальных откушали щей

И двинулись дальше дорогой своей…

И вот предо мною зелёный простор

Величье своё бесконечно простёр.

Стояли леса, как недвижные рати,

В закатном застывшие северном злате.

Сияли поля далеко и прозрачно…

Но было душе неуютно и мрачно.

Бескрайние эти великие дали

Мне душу безмолвьем своим угнетали.

Я видел, как дол расстилался за долом,

Какой-то сплошной тишиной заколдован.

И реки пустынные – Кубена… Сить…

Здесь некому вроде и рыбу ловить.

Среди их привольно катящихся волн

Хоть чья бы лодчонка, хоть чей-нибудь чёлн!..

Густела в полях вечереющих мгла.

И странные нам попадались дома.

Они величаво из мглы возникали,

Как будто их ставили здесь великаны.

Наверное, ставили их на века –

Такая во всём ощущалась рука.

Такое надёжное крепище брёвен…

Но облик их был и печален и тёмен.

Ни света из окон, ни дыма из труб,

Безмолвен был каждый покинутый сруб.

И мрачно они средь полей возвышались.

Куда же хозяева их подевались?!

Но каждый об этом угрюмо молчит…

И молча мы едем в глубокой ночи…

Но вот, наконец, нас хозяин привёз

В деревню свою под сиянием звезд.

**2**

По-чёрному топится баня Белова,

Но пахнет берёзово, дышит сосново.

На вид она, может быть, и неказиста,

Зато в ней светло, и уютно, и чисто.

Когда в её недрах всколышется жар,

Она обретает целительный дар.

Она забирает и тело, и душу,

Все недуги их извлекает наружу.

Любую усталость, любой твой кошмар

Вбирает в себя обжигающий пар.

И, весь разомлев, ты паришь невесомо,

Забыв, что творится и в мире, и дома…

И с пышущей полки встаёшь, обнажён,

Как будто бы заново в мире рождён.

Как будто бы весь начинаешься снова…

По-чёрному топится баня Белова.

**3**

И светлая взору предстала деревня,

Живая деревня в краю этом древнем.

Из сказки забытой, казалось, возник

Её отуманенный временем лик.

Темнели на избах высоких узоры,

И окна синели, как жителей взоры.

Распахнутый миру – входи на порог! –

Под небом пустынным жилой островок.

Казалось, один он остался на свете

Затем лишь, чтоб путника в мире приветить.

Хоть много чего сохранить не смогла,

Но душу деревня ещё сберегла.

Наверно, вовеки она не иссякнет,

Раз вынесла столько погибели всякой.

Наверно, вовеки она не исчезнет,

Раз столько ещё и добра в ней, и чести.

Раз детская чья-то головка одна

С таким любопытством глядит из окна.

Раз может ещё так глазами сиять

Анфиса Ивановна, Васина мать…

И сразу просторы исполнились смысла,

И небо иначе над ними нависло,

И дали, что с новой встречаются далью,

Уже не дышали такою печалью.

Всё сделалось радостней, стало прочней –

Земля при деревне и небо при ней!

И мир не казался уже сиротою

Со всей необъятной своей широтою.

К деревне ведёт и тропа, и дорога.

Ещё так богата земля, и так много

И сил, и красы у земли этой древней…

Доколе лежать ей, как спящей царевне,

Доколе копить ей в полях своих грусть,

Пора собирать деревенскую Русь!

Пора возродить её силу на свете –

Так пели и травы, и листья, и ветер.

Так думали поле, и речка, и лес,

И даль, что смыкается с далью небес.

Так думал, наверно, Василий Белов,

Что вёл нас по отчему краю без слов.

Пора – это Времени слышно веленье! –

Увидеть деревне своё возрожденье.

А всё, что в душе и в судьбе наболело, -

Привычное дело, привычное дело…

1985

КАЖДОЕ УТРО

(вариант предыдущего стиха)

Ей долго, ей мучительно не спится.

Но лишь сгорит воспоминаний нить,

Ей снова, снова начинает сниться:

В дверях нагнувшись,

 входят в дом

 ОНИ.

И –

 нету сил, чтоб кинуться навстречу.

Дыхания –

 Чтоб крикнуть имена.

И падает им

 на руки, на плечи,

Подкошенная радостью, она.

И слышит, слышит, словно из тумана,

Знакомые до боли голоса:

«Не надо, мать. Не надо плакать, мама,

Ведь мы - живые. Ну, утри глаза».

Прижмёт к глазам платок цветастый ситцевый…

- Стара я стала. Да совсем… стара… -

И, спохватившись вдруг,

 засуетится,

Забегает от печки до стола.

- Сейчас, сейчас… Устали вы… Дорога…

Да что ж вы не писали ничего!.. –

И снова их

 руками гладит-трогает,

Ощупывает каждого –

 живой!

И вдруг проснётся,

 Счастья не осилив…

Одна.

Как больно шевельнуться ей.

Рассвет безмолвен…

 Только что убили

Её давно убитых сыновей!

\*\*\*

Какие красивые дети,

Какими шагают рядами,

И очень прилично одеты,

И весело машут руками.

Шагают,

Шагают,

Шагают,

Послушные звонкому горну…

А я пустыри вспоминаю

И старую лысую гору.

Горбушка горячего хлеба…

Заросшего дзота бойницы…

На всё первобытное небо

Кричат беспризорные птицы…

 1959

\*\*\*

Поэзия,

 ты спутница

Тревог земных

 и бед.

Что на земле аукнется,

Откликнется в тебе.

Любая боль услышится

И песней изойдёт…

И душам

 снова дышится,

как травам под дождём.

 1959

\*\*\*

Владимиру Соколову

В атмосфере знакомого круга,

Где шумят об успехе своём,

Мы случайно заметим друг друга,

Не случайно сойдёмся вдвоём.

В суматохе имён и фамилий

Мы посмотрим друг другу в глаза…

Хорошо, что в сегодняшнем мире

Среднерусская есть полоса.

Хорошо, удивительно, славно,

Что тебе вспоминается тут,

Как цветут лопухи в Лихославле,

Как деревья спокойно растут.

Не напрасно мы ищем союза,

Не напрасно проходят года…

Пусть же девочка русая — муза

Не изменит тебе никогда.

Да шумят тебе листья и травы,

Да хранят тебя Пушкин и Блок,

И не надо другой тебе славы,

Ты и с этой не столь одинок.

 1967

ВЕТЕР В БАКУ

Я только вышел из вагона,

Я глянуть

Не успел вокруг,

А шумный ветер Апшерона

Обнял меня,

Как лучший друг.

И весь

В какой-то спешке страшной

Кружил,

Трепал меня за чуб

И за собой повёл,

Как старший,

И сигарету сдунул с губ.

И понял я,

Что он – хозяин,

Что всё

Подвластно здесь ему –

Вздымает волны на Хазаре,

Шлифует неба синеву.

Своим

Самозабвенным звоном

Наполнил ночи он

И дни,

И по своим

Живёт законам,

Что беззакониям

Сродни.

От налетающего свиста

Витрина каждая

Дрожит…

Машин

Сверкающая свита

За ним

По городу кружит…

А город – весь –

В неугомонном

Многоголосии людей,

Он сжился с ветром

Каждым домом

И каждой

Площадью своей,

Бульвара

Вздыбленною кущей

И каждой

Стонущей сосной,

И Башней Девичьей,

Плывущей,

Как Башня

Вечности самой…

И даже Киров

С ветром вместе

Живёт,

Над морем воспарив,

Он слил

В неукротимом жесте

С его порывом

Свой порыв!

Летит,

Как взрыв неукротимый,

Непререкаемый в веках,

Над морем,

Городом

И миром

Руки его

Призывный взмах!

 1973

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МАТЕРИ

Я сразу понял:

Я ей не чужой,

Хоть был,

Как говорится,

Иноверцем…

Я с ней заговорил

Своей душой,

Она своим

Ответила мне сердцем.

В её глазах

Такая глубь веков,

Такая мудрость

Прожитого века!

Я сразу понял,

Что она без слов

Любого

Разгадает человека.

Её язык

Я не успел узнать,

Она не знает

Языка России,

Но сразу понял я её

Как мать,

И поняла меня она,

Как сына.

Нас в даль свою

Дорога позвала…

В машину

Хлопотливо мы влезаем…

Прекрасен

Наш шофёр Ахадулла

И наизусть

Дорогу эту знает.

Уже на газ

Он был готов нажать,

Чтоб вдаль ушла

Послушная машина,

Когда над нами

Появилась мать,

Держа в руках

Мерцание кувшина.

Она неслышно

Вышла на балкон

Благословить гостей своих

И сына.

Чтоб невредимы были мы

И он, -

Вода струилась из её кувшина.

Наверно, ей

И только ей одной

Дорога наша

Не была обычной,

Полить её

Спасительной водой

Старинный ей

Подсказывал обычай.

И улыбались

Тихо и светло

Мы над её

Напутственной водою…

И нас

Без происшествий понесло

Дорогою –

Землёю золотою…

Но где бы я

Ни странствовал с тех пор,

В каком ни мчу я

Бешеном вагоне,

Она,

На путь мой устремивши взор,

Стоит,

Стоит недвижно на балконе.

Какой бы

Ни грозила мне бедой,

Какой бы

Жизнь

Печалью не страшила, -

Она стоит неслышно

Надо мной…

Вода струится из её кувшина.

 1973

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Михаилу Луконину

В какой въезжали мы простор,

Какими встречены дарами –

Нас окружали склоны гор

Золототкаными коврами!

О, как обнять душой своей,

Как уместить в стихотворенье

Твоих детей, детей, детей

Нарядношумное цветенье!..

Ни с чем на свете не сравнишь

Твоё высокое обличье

И россыпь черепичных крыш,

Мерцающую землянично…

Великолепный «шахиншин»,

Гордыня ханов,

Блеск столетий,

Вершина зодческих вершин,

В чинар упрятанная ветви.

Он так и просится в стихи,

О нём молва идёт по свету…

Но мне дороже, как поэту,

Твой бедный домик, Сабухи.

Не в недрах гордого дворца –

Под сенью горестной лачужки

Душа рассветного певца…

С ним рядом –

Лермонтов и Пушкин.

В далёкой той,

Враждебной мгле

Они одной мечтою жили,

И нашей дружбе на земле

Они начало положили…

Благодарю тебя, Шеки,

Благодарю душой и песней

За взмах приветливой руки,

За свет вершины поднебесной;

За древний шум

Лесов и вод,

За тишины твоей раздолье,

За твой улыбчивый народ,

В труде прекрасный

И в застолье!

За то, что в солнечной дали

Среди речей и встреч летучих,

Самих себя

Мы были лучше,

Быть хуже – просто не могли!

 1974

**Материалы подготовлены Александрой БАЖЕНОВОЙ**.